

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН №6 ГАЗЕТА

**«О Родине хочется думать...»**



ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 2019



**ПАСЕЧНИК**  
**Владислав Витальевич**

Родился в 1988 году. В 2011 году стал лауреатом премии «Дебют» Фонда «Поколение». Публиковал прозу и критику в журналах «Урал», «Новая юность», «Вопросы литературы» и других изданиях.



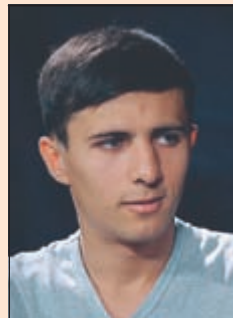
**МИХАЙЛОВА**  
**Ирина Евгеньевна**

Родилась в подмосковном городе Люберцы. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Дебютная повесть «В сторону леса» опубликована в альманахе «Пятью пять» и вошла в лонг-лист премии «Дебют» (2008). Работает в школе.



**ЖУКОВ**  
**Максим Петрович**

Родился в 1982 году в Астрахани. Проходил военную службу в «горячей точке». Публиковался в периодических региональных изданиях, а также на страницах литературного журнала «Российский колокол», израильского еженедельника «Секрет», газеты «Литературная Россия».



**САВЕЛЬЕВ**  
**Андрей Антонович**

Участник самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году 16-летний автор был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014 вступил в Крымское ополчение. Воевал в Донбассе.



**СИНИЦЫН Тихон Борисович**

Родился в 1984 году в Севастополе. Стихотворения публиковались в альманахах: «Севастополь», «Зеленая лампа», «Артбухта» (Москва), «Образ» (г. Ленинск-Кузнецкий), журналах: «Введенская сторона» (г. Старая Русса), «Алые паруса» (г. Симферополь), «Культура Алтайского края» (г. Барнаул), газетах: «Литературный Крым», «Севастопольская газета», «Литературная газета» и др.



**БИКМУЛЛИНА**  
**Зарина Рашитовна**

Родилась в Казани, студентка 3 курса МГУ им. Ломоносова. Автор четырех поэтических и прозаических сборников, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов.



**ЗНОБИЩЕВА**  
**Мария Игоревна**

Родилась в Тамбове. Публиковалась в периодических изданиях для детей и подростков («Костёр», «Юность», «Детская Роман-газета», «Жили-были», «Свет», «Пионер» и других). Лауреат ряда всероссийских литературных конкурсов.



# НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:

Дмитрий Белюкин

Юрий Бондарев

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный  
редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2020

Все права защищены

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

[www.roman-gazeta-1927.ru](http://www.roman-gazeta-1927.ru)

Подписные

индексы издания:

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2020 №6 /1851/ Основана в 1927 г.

## «О Родине хочется думать...»

Сергей МИРОНОВ,

Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

Председатель Жюри литературной премии «В поисках правды и справедливости»:

### «Нас объединяет семейная память поколений»

Литературная премия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и журнала «Роман-газета» «В поисках правды и справедливости» существует уже несколько лет. Её лауреатами стали авторы, определяющие сегодня лицо молодой литературы страны. Это Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, Дмитрий Филиппов, Юрий Лунин, Вячеслав Иванов, Павел Великжанин, Станислав Смагин, другие прозаики, поэты и публицисты из многих регионов России.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ системно работает с молодыми литераторами. Мы привлекаем к сотрудничеству авторов разных взглядов и направлений и надеемся, что нашему примеру последуют другие партии и общественные объединения, потому что литература — дело общегосударственное.

Я часто вспоминаю слова члена Жюри премии недавно ушедшего от нас выдающегося советского и российского критика и литературоведа Льва Аннинского. Он говорил, что любому начинающему писателю сначала надо обязательно прочитать Евангелие, иначе ему будет трудно понять русскую классику. А ещё он говорил, что России нужны новые объединяющие идеи. По его мнению, люди, у которых нет идей, могут легко пожертвовать тем, что нам бесконечно дорого, что составляет смысл нашей жизни — Родиной.

В произведениях победителей и лауреатов Премии продолжает жить и развиваться одна из самых главных, объединяющих многонациональный народ России идей — Победа советского народа в Великой Отечественной войне, 75-летний юбилей которой мы отмечаем. Напомню, что на фронт ушло 1200 писателей — известных и совсем молодых, 417 из них так и не вернулись домой.

Юбилей Великой Победы стал главной темой и содержанием большинства поступивших на конкурс произведений молодых авторов. Сегодня предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Вот почему так важна для нас семейная память поколений. Она противостоит любым попыткам переписать историю. Эта память живёт в повестях, рассказах, стихах и публицистических статьях, представленных в этом номере журнала. Меня искренне обрадовало, что в конкурсе уже не за награду, а по зову души приняли активное участие многие победители и лауреаты премии «В поисках правды и справедливости» прежних лет. Я надеюсь, что их имена появятся на страницах «Роман-газеты».

В этом году партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ планирует провести ряд памятных мероприятий, одним из которых станет специальная выставка в Государственной Думе, посвящённая поэтам и писателям-фронтовикам. Надеюсь увидеть на ней и молодых литераторов, кому близка военная тема.

Хочу поздравить победителей, лауреатов, участников конкурса, поблагодарить членов Оргкомитета и Жюри премии за проделанную работу, пожелать всем нам быть достойными памяти поколений, одержавших Великую Победу.



## ИЗ ПРОТОКОЛА Заседания Жюри Ежегодной литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Москва, Государственная Дума

25 декабря 2019 года

Присутствовали:

Миронов Сергей Михайлович — Председатель Жюри Ежегодной литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Татаринев Руслан Владимирович — Председатель Оргкомитета Ежегодной литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, Заместитель Руководителя Центрального Аппарата Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также члены Жюри.

С. М. Миронов объявил минуту молчания в память члена Жюри Премии литературного критика, философа Л. А. Аннинского, после чего высказал свои предложения по награждению победителей и финалистов Премии в номинациях «Молодая поэзия России», «Молодая проза России», «Молодая публицистика России» и «Молодая драматургия России». Председатель Жюри также рассказал об инициативе Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 2020 году провести выставку в Государственной Думе, посвященную поэтам и писателям-фронтовикам, пригласил всех членов Жюри к сотрудничеству в вопросе подготовки выставки. Он напомнил, что на фронт ушло 1200 известных и начинающих литераторов. 417 из них не вернулись с войны. Чтить память о них — долг всех граждан России.

Р. В. Татаринев сообщил, что в 2019 году на соискание Премии поступили 268 заявок от представителей регионов Российской Федерации и восьми иностранных государств. Председатель Оргкомитета объявил о дате и месте Торжественной церемонии награждения, во время которой по традиции будут названы имена победителей и лауреатов ежегодной Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — 12 марта 2020 года, Дом Союзов.

Утвержден список победителей Премии в номинациях:

### «МОЛОДАЯ ПРОЗА РОССИИ»

**I место:**

Пасечник Владислав Витальевич, «Триптих о войне» (Алтайский край).

**II место:**

Михайлова Ирина Евгеньевна, повесть «Я не боюсь» (Московская область).

**III место:**

Жуков Максим Петрович, роман «Багряные облака» (Астраханская область).

Савельев Андрей Антонович, повесть «Из кадетов в диверсанты» (Московская область).

### «МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ»

**I место:**

Синицын Тихон Борисович, подборка стихотворений «Весна в диком поле» (г. Севастополь).

**II место:**

Бикмуллина Зарина Рашитовна, подборка стихотворений «1946-й» (Республика Татарстан).

Знобищева Мария Игоревна, подборка стихотворений «Ивовый прут» (Тамбовская область).

**III место:**

Панина Виктория Сергеевна, подборка стихотворений (Тверская область).

Козлов Кирилл Сергеевич, сборник «Музыка Вселенной» (г. Санкт-Петербург).

### «МОЛОДАЯ ПУБЛИЦИСТИКА РОССИИ»

**I место:**

Артамонов Александр Германович, публицистические материалы, посвященные истории русской армии и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (г. Москва).

**II место:**

Насретдинова Диана Рамильевна, Носкова Алина Алексеевна, цикл очерков, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (г. Москва).

Толкачева Виктория Анатольевна, подборка статей о ситуации в Донбассе (Луганская Народная Республика).

**III место:**

Кильдяшов Михаил Александрович, цикл очерков о фронтовой поэзии «Мы могли бы говорить стихами» (Оренбургская область).

## ПРОЗА

Владислав ПАСЕЧНИК

### ТРИПТИХ О ВОЙНЕ

#### Роза

— Роза! Роза, я идти не могу... — сказал Валера тихо. Он сел на траву, этот маленький человек пятилетнего возраста, за которого только и болело сердце Розы.

— Тогда я тебя понесу. — Двенадцатилетняя Роза бросила тяжелый узел с едой, и сама села тут же, рядом с братом, перевести дух.

Она смотрела на Валеру, удивляясь своим внутренним силам и своей любви к нему. Страшное пережили они с братом за эти полтора года, с того дня как началась война и отца забрали на фронт полевым врачом.

Мать умерла у Розы на руках: от бесконечных бомбежек у нее не выдержало сердце. Накануне девочке приснился сон, будто бегут они вместе по полю, и земля под ногами матери разверзается, и проваливается она в глубокий черный колодец.

Когда все случилось, Роза, как говорили соседки, сразу превратилась в «маленькую старушку»: суетливая, деловая, бойкая, она тянула за собой болезненного Валеру.

Наконец голод и одиночество погнали их из поселка. Сегодня утром дети вышли из Перевесинки и двинулись в сторону Ртищева, где жила их тетка. Шли в стороне от дороги, оврагами, пробирались через густой кустарник, чтобы скрыться от людских глаз. Всякое случалось на дорогах в это страшное время: детей могли изловить, ограбить, сдать в интернат, убить.

— Есть хочу, — проговорил Валера, вытянув перед собой слабые ножки в парусиновых брючках. Брючки эти сшили ему проезжие девочки-зенитчицы из листьев камуфляжа.

Роза развязала узел с хлебом. Здесь много было, узел казался очень тяжелым — хлеб вчера дали соседи, жалость к детям пересилила в них страх перед голодом.

Валера ел, мучительно сглатывая. Он редко видел хлеб в сиротской своей жизни. Так получилось, что осенью 1942 года хлеб для него пожинали мыши. Роза, среди других голодных детей, ходила по полю с Валерой, разбивая влажную серую скорлупу подтаившего снега, в поисках мышиных «кладовых».

Голодный Валера тут же клал зернышки в рот. Роза одергивала его, думая про себя: «Скоро он подхватит мышиную болезнь».

Дома она рассыпала зерно на большой противень и ставила сушиться на печку, пока из него не выветрится зараза. Валера не мог ждать — едва сестра отворачивалась, он тут же вытягивался на цы-

почки, склевывал его тонкой бледной ручкой и отправлял в рот.

Однажды сосед дал Валере целую свеклу. Роза вошла в дом, увидела, как он грызет ее — сырую, неочищенную, — и расплакалась.

Едва сошел лед, дети вышли на реку. Стоя по колено в вешней воде, голыми руками собирали они беззубок. Вынутые из темно-зеленых раковин, сваренные в кипятке, моллюски приобретали некоторое сходство с пельменями. Роза видела: Валера на реке то и дело простывает, и это торопит его смерть.

— Знаешь что? — Роза погладила брата по голове. — Я тебя понесу. Узелок пока здесь полежит, я тебя понесу, а ты присматривай, чтобы не стащил кто.

Валера кивнул, и девочка подняла его, прижав к себе так, чтобы лицом он смотрел ей за спину, на лежащий в траве узел.

— Смотри, — повторила она.

За зиму брат стал легким, как котенок. Рубашонка едва держалась на его тонких плечиках. Роза шла медленно, чувствуя, как больное дыхание шумит в груди Валеры.

Был у нее и старший брат. Но от него осталось что-то совсем невесомое — желтенький треугольник письма в нагрудном кармашке. Звали брата Володя.

Отец уже был однажды женат. От первого брака у него и родился Володя. Мать, интеллигентная женщина по имени Фрося, вскоре после родов пыталась испечь Володю в печи, словно хлеб. Как говорили тогда, ей «молоко в голову ударило». Она усадила младенца на лопату и засунула в жерло печи. Володю спасли, а Фросю отец отвез в сумасшедший дом. На приеме у врача, прежде чем отец успел открыть рот, Фрося объявила: «Я тут вам мужа привезла, вы не слушайте, что он вам будет говорить, он полоумный».

Отец с ней развелся, но лет через шесть сошелся с другой женщиной и женился вновь. За свою жизнь он женился трижды, этот бедный врач в блестящих круглых очках, с толстыми мясистыми губами и темными скулами, означавшими, что где-то в жилах его бродит степная татарская кровь.

Роза и Валера родились от второго брака. Сестру Володя любил безумно, целовал, звал «мой Розанчик».

От Володи, да еще от отца только и видела она ласку.

Война забрала Володю сразу после школы. В ту пору всякий, кто окончил десятилетку, мог стать офицером. Володя поступил в артиллерийское училище и в конце 1942-го уже закончил его в звании лейтенанта. Когда умерла мать Розы, Володя приехал в село. Он вошел в дом, обнял Розу и Валеру, сказал: «Сиротки вы мои» и заплакал. Плакали вдвоем до утра. Потом Володя обошел всех соседей, всю родню и упросил не оставлять детей в беде, кормить иногда хлебом. Соседи согласились укрывать Розу и Валеру у себя, чтобы их не забрали в детский дом.

Через два дня Володя уехал. В первом же бою за ним приходила смерть. Раненный в ногу, он спасался от нее ползком, а смерть, полная механического гула, гналась за ним. Володя выжил — дополз до своих.

Писать Володя ленился. С каждым письмом он таял, удалялся, выветривался из жизни Розы.

Наступило лето. Роза знала, что Володя уже поправился и вернулся на фронт. Скоро его отправили на Курскую дугу. В середине июля пришло это последнее письмо. Заканчивалось оно так: «Знаю, что не увижу тебя больше, Розанчик... наступил перелом. Или мы их, или они нас». Чуть ниже Володя нарисовал розочку с улыбающейся девичьей мордашкой посередине.

— Роза... Узелка уже не видать, — подал голос Валера.

Роза оглянулась. Узел действительно скрылся в траве.

— Посиди, посиди пока здесь, — сказала она горячо и побежала назад. Она схватила узел за тряпичные уши и поняла, что поднять его уже не сможет. Тогда она потащила его за собой по траве.

Валера ждал ее, обхватив ручонками колени. Холод источил его кости, выдавил из груди важное жизненное дыхание. Роза не понимала, как этот пугливый и грустный мальчик дожил до весны.

В начале второй зимы топить стало нечем. Прежде были проезжие солдаты, которые запрягали в сани волов, ездили в лес, а местные дети шли перед ними и показывали дорогу. На вторую зиму солдаты появлялись в этих местах все больше раненные, и сани никто не снаряжал. Дети ходили по железнодорожной насыпи, выискивая куски непрогоревшего угля среди выброшенного из паровозных топок шлака.

Окончание холодов было отмечено зловещим знамением: в поселке откуда-то появились крупные серые собаки. Их часто можно было увидеть возле дорог, где они трусливо рыскали, разгребая лапами мерзлую землю. Однажды во дворе школы они затеяли веселую и визгливую возню в снегу — тогда их собралось множество, и дети не решались подойти к школе, пока они не убрались.

Только потом Розе объяснили, что это были волки.

— Я тебя еще немного понесу, а дальше ты сам, хорошо? — Роза снова приподняла Валеру, отметив про себя, что его-то как раз тащить очень легко, потому что он узелку из птичьих косточек сродни, что это невесомое существо она бы на руках несла целый день и ни за что бы не устала.

И тут Валера тихонько запел песню, которую пел, бывало, зимними вечерами, устроившись возле печки: «Вот помру я, помру... похоронят меня...»

— Что ты такое поешь? — рассердилась Роза. — А ну перестань. Как такое можно петь?

Валера заплакал. Он вывернулся у Розы из рук и пошел, широко размахивая тощими ручонками. Он шел и плакал, вымученно и зло, а Роза шла рядом, позабыв про узел и про все на свете. Она не могла

придумать, что сказать сейчас этому маленькому человеку. Их двое осталось в холодный сиротский век.

Так прошли они еще несколько верст. День кончился тяжелым багряным закатом, дети спустились в один из оврагов и решили заночевать в нем.

Они обнялись отвернув лица от холодного звездного неба, и лежали так, согревая друг друга своим теплом. Роза слушала беспокойное дыхание Валеры — она не знала симптомов дифтерии, но каким-то чутьем понимала, что мальчик болен, уже, наверное, непоправимо.

— Я тебе письмо от отца показывала? — сказала Роза вдруг. — Демобилизуют его после контузии. В медицинскую палатку снаряд угодил. Отца нашли в нескольких шагах, он в пруд упал, ногами в воду, а головой на какие-то кусты. А так бы захлебнулся. Пишет, что, мол, говорит теперь плохо и плохо ходит... но приедет скоро. Обещает приехать.

Валера не отвечал, забывшись сном. Роза вздохнула и легонько коснулась губами его горячего круглого лба.

И вдруг какая-то древняя могучая сила расцвела в ней. Роза поняла, что сила эта всегда была с ней, росла и зрела уже очень давно, вопреки голодному веку, пробивая холодную наледь, пересиливая голод и страх. Сила эта была больше войны, больше смерти, кажется, она могла опрокинуть танковую лавину, и в то же время в ней было что-то от терпения и смирения, потому как только терпением и смирением можно победить зло. И с этим новым странным чувством Роза закрыла глаза.

## Вовка

В прихожей опять гремят сапоги. Вовка затаив дыхание стоит босой на шатком стуле, как эквилибрист в цирке. Стоит ему чуть сместиться, и стул предательски скрипнет. Широкополое отцовское пальто скрывает его худощавую фигуру. Вовка не двигается и старается не дышать. Вот сейчас... сейчас его найдут и силой вытащат из нехитрого его укрытия. Потом заставят выпрямиться ровно, вытянуть руки по швам, а дальше... Что будет дальше, Вовка и представить не может.

Ему и теперь мерещится запах хлеба: отец работал на хлебокомбинате. Вовка хорошо помнит его лицо — черное сырое лицо одессита. От него всегда пахло хлебом и горячей печкой, хлебный жар собирался в уголках его глаз и губ, когда он улыбался и когда хвалил сына за хорошие отметки — Вовка делал большие успехи в математике. Сверстники завидовали, учителя пророчили ему будущее инженера или физика. Все изменилось очень быстро: отец оказался в тюрьме — осенью, когда немецкие войска подходили к Харькову, он раздал людям весь хлеб. В школу Вовка больше не ходил, словно учеба, доставлявшая ему такое удовольствие, разом потеряла

свое значение перед лицом грядущей страшной жизни. В воздухе стояло удушье, словно перед грозой...

Из прихожей доносится негромкий разговор. Говорят по-немецки и по-русски. По-русски — дурно. Смеются. Слышится испуганный голос матери. Вовка представляет ее в эту секунду — бледную, худую, опустившую руки на грязный фартук.

В прошлый раз не нашли. Может, и сегодня не найдут?

Сдали соседи. Сообщили куда надо, что в таком-то доме живет подросток пятнадцати лет. В тот раз обошлось. Приходили вечером. Спрятался так же — под пальто.

Вовка думает о соседях, что жили в доме напротив. У них была Наташка, его ровесница, долговязая чернобровая хохлушка. С ней они по выходным ходили на речку и бегали тайком от родителей в овраг на окраине города. Когда был отец, мальчик постоянно таскал для нее хлеб, но Наташка ему все равно завидовала. «Вишь, как, — говорила она, — у тебя папа пекарь, а был бы у меня такой папа, я бы каждый день вдоволь ела».

Вовка вспомнил Наташкиного отца — разговорчивого тучного мужика с неприятным глухим голосом, крупным рябым носом и сизой щетиной. «Он и сдал, жила рваная», — подумал Вовка.

Голоса все громче. Вот чья-то рука отодвигает пальто. «Ну вот, конец...» Вовка зарывается носом в воротник, крепко закрывает глаза. Запыленный хлебный запах — последнее, что он запомнит в своей прежней жизни. И еще пахнет чем-то острым, противным. Наверное, в кармане осталась лимонная корка...

Артиллерия работала уже несколько часов. До рабочего лагеря каждый залп доносился тугим шелчком. Прошел сильный дождь, и в траншеях стояла вода. Воздух тревожно накалился от мокрой каменной пыли, было тяжело дышать. Казалось, в этом тяжелом воздухе и крылась причина странных звуков — глухих ударов и резких шелчков. Заключенные — в основном подростки и молодые парни, — побросав лопаты и вытянув худые длинные шеи, вслушивались в сухие и грозные раскаты штормовых орудий. Среди парней был юноша восемнадцати лет. Четыре года назад он звался Вовкой, а теперь стал просто номером, словно бы весь превратился в пятизначное число. Он не мог объяснить, как это произошло: из него просто вынули что-то и прицепили на полосатую куртку нашивку с пятью цифрами — 52731. Это случилось давно, в прошлую геологическую эпоху, и Номер 52731 не мог поручиться, что все было именно так. С тех пор он очень изменился: на круглой выбритой голове, на сером длинном лице чернели засохшие язвы — это с зимы. Глаза выцвели совершенно, левая, разбитая щека подрагивала, когда Номер 52731 пытался сосредоточить на чем-то свое внимание.

В последнее время он завел нервную привычку — жевать и кусать нижнюю губу. Иногда он докрасна

прокусывал ее и с наслаждением слизывал сочившуюся юшку. Соленый острый вкус на время возвращал его к жизни. Но чаще крови не было совсем. Это казалось Номеру 52731 досадным, и он долго сосал пустую, бескровную мякоть. «Если я еще иссохну, — думал он, — то меня, пожалуй, можно будет бросить в конверт и положить на стол блокфюреру». Он тешил себя мыслью о том, как покраснеет от гнева блокфюрер, как закричит: «Вы что мне опять подсунули? Через комендатуру! Всё через комендатуру!» Номер 52731 представлял себе эту сцену снова и снова, хотя в ней не было ничего забавного.

Эти четыре года Номер 52731 жил странной жизнью. По утрам на грязной полке рядом с другими телами он находил и свое тело, похожее на засохшего в оконной раме паука, долго и брезгливо в него вочеловечивался, потом тащил его, спутанное и вялое, на каменоломню, где и оставлял до конца рабочего дня. По вечерам он обычно пел в «музыкальной роте», составленной из узников-мальчишек. Так случилось, что от прежнего живого Вовки Номер 52731 унаследовал слух и звучный баритон. Только благодаря этому он продержался в лагере так долго. Немцы любили русские песни — «Катюшу», «Во поле береза стояла» и «Яблочко». Номер 52731 знал, что «музыкальная рота» — не самая худшая для него участь. Два или три раза он видел, как пьяные эсэсовцы запрягали мальчишек в тачку, и сами садились в нее. Дети во время таких катаний тоже должны были петь, их голоса срывались до хрипоты, а офицерня смеялась.

Номер 52731 ничего не боялся. Боялся Вовка — там, под отцовским пальто, и во время пересылки в Германию, — но теперь этого Вовки нет. Его поделили, он превратился в частное, сухой остаток под ровной прямой чертой, и даже воспоминания свелись для него к простой математической абстракции: Харьков, Наташка, мать, евреи с соседней улицы, которых забрали в тот же день, что и Вовку, но повели в конце концов не на поезд, а в овраг, в тот самый, куда любили лазать дети.

Потом все было еще проще: карантинный барак, филиал, корпус, в котором его поселили, — все это имело номера и жило по заведенному распорядку. Каждое утро в один и тот же час родители оставляли детей в бараках и отправлялись на работы, и с этим ничего нельзя было поделать. В определенные дни в назначенное время эсэсовские врачи увозили детей в лабораторию для «забора крови».

Вечером в бараки возвращались тряпичные куклы. Родители не плакали. Говорили только о том, что пружина на одной из форточек проржавела и скрипит на ветру, мешает спать и что нужно попросить у блокфюрера новую. Затем, в назначенные день и час детей опять забирали, и номера молчали по-прежнему, пряча боль и страх в уголках глаз. Маленькие дети не жили долго, но через некоторое время в лагерь привозили новые семьи.

Весь этот процесс укладывался в простую математическую формулу, правда, Номер 52731 никак не мог

ее вывести. Что-то выбивалось из выстроенной системы, не имело еще абстрактной величины. Смутные запахи хлеба и лимонной корки... Номер 52731 уже не мог вспомнить, когда их обонял, хоть и напрягал память. В редкие минуты отдыха, сидя возле опустевшей тачки, он с трудом ворочал в уме неподъемные, непонятные слова: хлеб, отец, дом. Он складывал и умножал эти слова, но ни одно произведение, ни одна сумма не были и близко похожи на смутное чувство, одолевавшее его. А может, ничего и не было? И дома, и Харькова... и оврага того страшного не было?

Ухнуло опять — на этот раз совсем близко, в лагере. Заключенные побежали. Номер 52731 тоже вскочил, как перепуганный зверь, и метнулся за ними. Он понял все, понял очень быстро. Вокруг кричали на разных языках — на русском, немецком, английском: «Бунт! В лагере бунт! Нужно бежать! Союзники близко, они на подходе, все лагеря поднялись, нужно бежать!»...

И Номер 52731 бежал. Это у него получалось не очень хорошо — заплетались бумажные ноги. Вокруг бежали такие же тонкие человечки, в таких же полосатых робах с номерами. Воздух, тяжелый от сырой пыли, гремел, шелкал и разрывал грудь изнутри.

Некоторые номера уже преодолели ограждение и бежали в сторону леса. Стрекотал пулемет, один за другим бумажные человечки падали на землю.

Тут Номер 52731 остановился. Затравленное тело среагировало куда быстрее, чем голова, оно распрямилось само собой, руки вытянулись по швам. На несколько секунд Номер 52731 даже перестал дышать. Дуло — пустое и черное — заглянуло ему в глаза. Охранник не двигался, но в его фигуре чувствовалось напряжение взведенной пружины.

«Он ненамного старше меня, — подумал Номер 52731. — Он напуган, сейчас он меня застрелит».

Молодой солдат замешкался. Он, конечно, выстрелит, если Номер 52731 сделает резкое движение. Лицо охранника показалось ему знакомым. Кажется, он бывал раньше на вечерах их «музыкальной роты». Может ли так случиться, что он не выстрелит? «Нет, не может такого быть, глупости. Это что-то из той, небывалой жизни. Миловать они не умеют. Они хорошо умеют другое: вываривать из нас мыло, травить тифом, спускать из вен кровь. Остальное выпадает из их уравнения».

— Zurück! — проговорил охранник вполголоса. — Zurück in die Lagermitte!

Ноги, привыкшие к повиновению, развернулись против воли. Бежать обратно было куда легче. Ноги двигались сами собой, теперь ими управлял настоящий животный страх. Только один раз Номер 52731 оглянулся и увидел, как что-то страшное и невидимое накатило на лагерь. Это было как вспышка молнии: всё застыло на секунду, и раздался громовой удар — кто-то закричал по-русски: «Парашюты! Парашюты!» Затем переломился последний рубеж, формула, соединявшая всех этих людей, рассыпалась, в ней спутались переменные. А потом всё вдрут

встало на свои места: охранники, которые стояли за ограждением, тут же скатились по внешней стороне насыпи и исчезли из виду. На секунду Номер 52731 представил, как они бегут мимо распластанных полосатых тел, не останавливаясь, не глядя под ноги, как бледнеют их фигуры, истончаются, исчезают и, наконец, просачиваются под землю, словно талая вода. Только новый громовой раскат развеял это наваждение.

Больше он не оглядывался. Он бежал, спотыкаясь и падая. Дорога вела под гору, тут и там на вытоптанной земле лежали обглоданные куски породы. Номер 52731 уже не прилагал усилий, чтобы бежать, — сил просто не осталось. Он мчался вниз, зная, что вот-вот упадет и ни за что уже больше не встанет. А потом он потерял равновесие и провалился в глухой черный холод...

На мгновение темнота расступилась. Номер 52731 приподнял голову над водой, судорожно заглотнул воздух и поплыл. Шурф был неглубокий, но частые дожди наполнили его до краев. Руки скользили по оплывшей глине, полосатая куртка, тяжелая от воды, тянула вниз. Последний раз он вынырнул, ища хоть какую-нибудь опору, но вода ослепила его, и ничего, кроме яркого света, он не увидел. Затем гулкая темнота снова сомкнулась над головой.

Рука протянулась из ниоткуда, ухватила его за шиворот и вытащила наверх. Оказавшись на земле, он еще некоторое время не видел и не слышал. Между тем кто-то возвышался над ним.

Отдышавшись, Вовка увидел десантника, огромного белозубого негра. Он весь был улыбкой: улыбался его рот, улыбались глаза, каждая морщинка на высоком лбу и каждая складочка в уголках губ. Вовка не знал английского, а если бы и знал, у него все равно не хватило бы сил, чтобы говорить. Он просто стоял на ломких ногах и мелко трясся перед этим чернокожим великаном. Но десантник ничего не ждал от него, он просто глядел на Вовку и улыбался. Так не смотрят на бумажное уравнение, так могут смотреть только на живого человека. Улыбка эта обещала будущее — хорошее и дурное. Математически она была проста как дважды два.

## Максим

Рассвет выгнал Максима Курипко из траншеи. Он выбрался наверх, уставший, голодный и почти незрячий после громкой бессонной ночи. Вчера был дождь, в траншеях стояла мутная вода. Курипко набрал ее во флягу, бросил туда таблетку очистителя и, не дожидаясь, когда она растворится совсем, жадно выпил.

Ночью он отстал от роты. Была страшная суматоха, наступали без команды, без смысла. Когда приходили приказы, было уже непоправимо поздно, уже рвались снаряды, и сотни людей становились глиной.



В рывках от колес стояла маслянистая вода. Овраг справа от дороги был забит человеческими и конскими трупами, в небе кружились вороны. Вдалеке горел город. Всюду на земле лежали мертвые: свои, враги и даже страшные штурмовики-«западники», «законченные», еще до смерти умершие люди. Вчера они прибыли с Западного фронта на десантном корабле, увешанные орденами, гордые и опасные, вчера они бросили в порту своего командира и двинулись вперед, и всю ночь рокотало впереди, в небе и в траншеях было беспокойно, а он, Максим, из простых солдат, сидел под дождем, накиннув на себя отпоротую половину плащ-палатки.

Эта половина и сейчас была при нем. Плащ-палаткой с ним поделился сержант Клипин. Свою Максим сдал в хозяйственный обоз, как раз перед тем как загрохотало — в небе и на земле. Теперь брезентовая половинка тяготила его смутным беспокойством. «Увижу Клипина — верну», — решил Курипко.

Солдат шел вдоль дороги. Он, кажется, совсем потерялся, ни одного живого человека вокруг, а всё только трупы и взрытая земля. День был жесток к солдату. Он принес холодный северный ветер и тучи воронья. Вороны садились на ветки, прыгали среди неподвижных тел, выклевали у них глаза, а главное — гремели в зияющем небе над головой Максима.

И вот Курипко, бывший охотник, остановился, вскинул винтовку и дал залп в небо, по птицам. Одна из ворон упала на землю. Стая рассыпалась со страшным гвалтом. Он выстрелил еще раз, а потом еще и еще. После каждого выстрела на землю падал мертвый враг.

Максим торжествовал молча. Он думал, как правильно и хорошо, что он — теперь уже не совсем солдат и совсем не человек — вот так стоит и стреляет по воронью.

Вороны разлетелись прочь. Их черное войско было разбито одной только винтовкой Мосина. Небо прояснилось, не стало хриплого карканья, и солдат отправился дальше. Спустя какое-то время он обнаружил, что дорога, по которой он идет, ведет его не к цели, не к горящему городу, где еще слышались выстрелы, а куда-то в сторону. Но он не замедлил шаг. Внутри у него что-то еще надрывалось вороньим гвалтом, а в ноздрях свербил запах прибитой пыли.

Откуда-то из-за поворота появилась полевая кухня. Она двигалась торопливо и шумно, подпрыгивая на ямах и кочках, испуская клубы ядовитого дыма. Кухня не сбавляла скорость, и не было сомнений, что она промчится мимо.

Тогда Курипко снял с пояса последнюю гранату и вышел на середину дороги, расставив руки в стороны. Кухня громко чихнула и встала. Из нее выскочил уставший шофер — солдат с измученным лицом. Он понял, чего хочет от него Максим, что не ел он, наверное, очень давно, может, два или три дня. В машине были хлеба, теплые, как нагретые валуны, шершавые и темные. Курипко жевал сосредоточенно, тяжело вздыхая, проглатывая сразу помногу.

В эту минуту его занимала только еда, и ничего больше. Рухни сейчас скалы, окружавшие его, он ни за что не прекратил бы есть.

Вот кухня уехала, и Курипко двинулся дальше по дороге. Вскоре он вышел к широкой бухте. Солнце поднялось высоко, и можно было скинуть с себя всю одежду, пробежать по пляжу, окунуться в холодный прибой и поплыть прочь от берега. И вот он, который никогда еще не плавал голышом, заплыл очень далеко, так что и про берег забыл, а море подхватило, одолело его, и не мог он ничего сделать, кроме как лечь на спину и совершенно отдаться течению.

И тогда из его тела вдруг ушла судорога, которой он прежде, кажется, и не замечал или успел каким-то образом к ней привыкнуть. А затем пришло воспоминание — короткое, смутное, как позавчерашний сон, о том, что осталось в траншее, скрытое грязной водой... Максим выбросился на сушу, рыхлый как морская пена, и высох, остался на камнях тонким соляным осадком. Когда же он пришел в себя, вокруг по-прежнему не было ни души. Солнце стояло в зените, вдали полыхал город.

На камнях среди одежды лежал обрывок плащ-палатки.

«Нужно вернуть Клипину», — вспомнил Максим.

Он смешно прыгал на камнях, натягивая порты, когда со стороны города появился человек, японец. На нем не было погон, но по форме и выправке Максим узнал в нем офицера. На лбу у него белела марлевая повязка. Максим нагнулся за винтовкой и замер, не сводя глаз с японца: таких убивали, не пропускали мимо. Офицер тоже остановился и смотрел на солдата.

— Иди, — прошептал Максим одними губами, — иди.

Офицер, конечно, ничего не мог услышать, но как-то понял намерение Максима и двинулся дальше. Вид у него был, кажется, такой же потерянный, что и у Курипко. Затем он исчез, и Максим сразу забыл о нем. Он решил идти в город. До того он не вполне понимал, что и зачем делает, но теперь не было в нем прежней непонятной судороги, и он знал точно, что нужно найти своих и отдать Клипину его брезентовую половинку.

Дорога к городу поднималась от самого берега. Среди холмов виднелись просевшие, обвалившиеся доты. Холмы, еще утром неприступные, кишевшие злой пчелиной жизнью, теперь были пусты. Только кое-где ходили страшные люди с винтовками — высматривали, не шевелится ли кто среди обломков. По дороге навстречу Курипко двигалась колонна пленных: уголовники вели арестованную жандармерию. Зеки шли гордые, довольные тем, как распорядилась ими судьба. Вчера они напоили водителей и двинулись в город. К утру улицы уже были охвачены пламенем, а земля дрожала от страшного мужицкого разгула.

— Не видели сержанта Клипина?

— Клипина? Не знаем такого.

Вот и город. Воздух в нем сизый, потяжелевший от дыма. «Западники» захватили спиртзавод и выставили по периметру бойцов с винтовками. Всем желающим разливали спирт — во фляги и банки. Возле ворот дымил штурмовик, из самовольных атаманов, — уставший мужик с недавним шрамом на шее.

— Это немец штыком меня, — рассказывал он, поглаживая острый кадык. — Я тогда чуть-чуть не кончился.

Командир штурмовиков, молодой полковник, рассеянно курил рядом, то и дело одергивая китель, касаясь невзначай кожаной портупеи. Лицо его было серым и неподвижным. Вчера он, гордый и грозный хищник, стоял на носу десантного корабля. Он велел штурмовикам остаться в порту и ждать прибытия генералов, но кто-то из этих закопченных, замасленных солдат — может, и тот, что болтал и чесал кадык сейчас, — кто-то из них крикнул ему: «Командир, оставайся в порту, остальные — за мной!» И ничего не мог сделать полковник, кроме как нервно вытянуться перед этими головорезами, не сказав ни слова, сжав зубы.

Приехали генералы. Поняли всё без вопросов, покачали головами. «Мы так и думали», — сказал один. «Это вина не ваша. У них там свои... “командиры”, — сказал другой. — Всё мы понимаем». А полковник нервно стоял перед ними навтыжку, как будто мученическая поза могла что-то изменить или оправдать его беспомощность.

— Не видели сержанта Клипина? — спросил Максим штурмовиков.

— Нет, не видели, — отвечали «западники» угрюмо. — А ты не стой, сядь, что ли, выпей с нами.

— Да не могу. Мне найти надо.

— Ну хоть во флягу набери!

— Во флягу — можно.

На окраине стоял буддийский храм. Во дворе лежал мертвый монах в странной одежде с желтыми кисточками. В храме хозяйничали саперы — день кончался, в воздухе звенели комары. Курипко остановился возле монаха. Неподалеку сидели саперы. Они вели свою беседу, глядя на мертвого человека в диковинных одеждах ровно и бесстрастно, как на что-то простое и ясное, вполне приемлемое в их беспокойных жизнях.

— Форсировали мы реку, — говорил один из них, — ну как мы... я и еще один дурак... Переправили нас на «амфибиях», высадили, дали по железному пруту: идите, мол, пошуйте — нет ли на берегу мин. Я вот сейчас думаю: может, на нас хотели огонь вражеский вызвать? А тогда не думал. Ну вот, иду я, значит, гляжу: домик двухэтажный, ага... Во дворе кони запряженные. Я, дурак, захожу внутрь, смотрю: котелок с кашей, нож с костяной ручкой да фуражка офицерская. На второй этаж отчего-то ходить не стал. Кашу съел, нож прихватил. А потом уже, когда в наступление пошли, туда наши командиры сунулись — нашли на втором этаже трех японцев... Кок-

нули их, конечно... А представляете, если бы я туда сунулся?

— Не видели сержанта Клипина? — спросил их Максим.

— Клипина? Ну видел я вашего Клипина, — ответил один из саперов. — Он с двумя дурнями дот закрывать пошел. Его из того дота пулеметом и прошило. Только и видно было, как патроны из патронташа на землю сыплются.

— Вот как получается... — Курипко выпросил у сапера папироску, закурил.

— Спирт есть? — поинтересовался кто-то.

— Ну, есть немножко. — Курипко показал флягу.

— Это хорошо. Оставайся тут ночевать, — предложили саперы. — Мы здесь денька на два задержимся.

— Ну хоть и так... — согласился Курипко, думая, как бы ему отыскать своего командира.

Заночевать в храме не получилось: через час явился какой-то человек в штатском и велел уходить.

— Местные вам монаха не простят, — говорил он нервно.

— Мы, что ли, попа этого убили? — возмущались саперы. — Когда мы пришли, он уже готовенький лежал.

— Все равно уходите. На сопки уходите, там и переночуете. А здесь нельзя.

Когда поднялись на сопки, сделалось уже темно, к тому же с моря поднялся густой туман. Курипко вдруг оказался один, пробовал кричать, но не докричался, а только сорвал голос.

Тогда он нашел себе укромную впадинку, постелил на землю половину плащ-палатки и задремал. Было темно, сыро и тепло. Курипко задохнулся от этого морского духа и быстро заснул. Последнее, о чем подумал, что сержант Клипин пожадничал: мог бы отдать ему всю плащ-палатку, прежде чем умереть.

Он спал уже крепко, когда чья-то рука больно толкнула его. Максим открыл глаза. Над ним склонился японец, точь-в-точь как тот, которого видел Максим в бухте. Курипко зажмурился и тряхнул головой. Японец не исчез, и это точно был он! Даже повязка, кажется, была на прежнем месте, только чуть-чуть съехала на висок от сырости. На плечах виднелись тени от погон.

Еще стоял густой туман, и лицо японца выступало из серой мглы, как лицо привидения.

Он произнес что-то и махнул рукой. Максим приподнялся, упершись локтем в холодную сырую землю. Все тело болело от холода. Он, наверное, замерз бы насмерть до утра.

Японец снова махнул в сторону, и Курипко наконец увидел неясный огонек вдаль — искорку костра.

Чей это костер? Друзья или враги греются возле него?

Максим встал и нетвердым шагом двинулся к огню. Японец шагнул в туман и навсегда исчез.

Костер был уже совсем близко. «Наши! По-нашему говорят! — понял Максим и обрадовался: — Да это же из моей роты!»

У огня сидели десять человек, знакомых и незнакомых. Говорили негромко, поминали погибших, среди прочих Клипина, пили спирт со спиртзавода.

Когда Максим шагнул к костру, все разом замолчали и неподвижно уставились на него. Лица некоторых вытянулись от удивления.

— Курипко! — вдруг раздался голос ротного. — А я тебя в мертвые записал! Сам же видел, как рядом с тобой мина рванула!

— Я живой... — слабо улыбнулся Максим. — Меня землей присыпало, а так живой. Холодно здесь. Пустите к огню.

И вдруг он почувствовал, что прежняя судорога вернулась к нему и теперь, наверное, не оставит его до самой смерти. И подумал отчего-то, что через много-много лет не будет помнить дня, когда он мертвый ходил по земле. Разве что вспомнится ему, как он плавал в море первый раз в жизни и как в болезненной звенящей тишине шептались волны Охотского моря.

Ирина МИХАЙЛОВА

## Я НЕ БОЮСЬ

### Повесть

#### 1

Ровно в восемь сработал будильник — минусовка группы «Люмен» — и Данил резко, словно опаздывая в школу, поднялся.

В полумраке тесной кухни на ощупь нашёл чашку и сковородку. Прямо за низким окном, занавешенным полупрозрачной шторкой, давно не стиранной, в едких пятнах, висел фонарь — свет от него доходил до кухни. В свете фонаря была видна немытая с вечера посуда, грязный пол, стол с порванной в нескольких местах клеёнкой, заставленный коробками и банками.

Данил старался не шуметь, чтобы не разбудить мать, но та всегда спала чутко и слышала всё, что происходило в их маленькой квартире.

— Даня, куда ты? — крикнула она через закрытую дверь своей комнаты.

— В институт, — буркнул он.

— В воскресенье? Зачем?

— Надо.

Данил услышал, как мама перевернулась на диване и отвернулась к стене. Он всегда отвечал ей односложно, и она, привыкшая к этому, ни о чём не спрашивала. Конечно, никакого института в воскресенье не было. Его вообще не было. Данил придумал подготовительные курсы, чтобы можно было ух-

дить из дома, ничего не объясняя. Мама верила — и тому, что занятия так поздно, и тому, что бесплатно. Только однажды спросила:

— А почему тебя позвали на эти курсы? Разве ты хорошо учишься?

— Там всех звали, — махнул рукой Данил, — акция такая у них.

— А какой институт?

— Транспортный, — к этому вопросу Данил не подготовился, поэтому ляпнул первое, что пришло в голову, — рядом тут.

Российский университет транспорта действительно был рядом, но Данил пожалел, что назвал именно его. Он был, как говорили в школе, слишком крутым. Но — что сказал, то сказал.

Чайник, старенький, со свистком, зашумел на газу, готовый вот-вот засвистеть, но Данил успел ловко и быстро поднять его носик. Среди груды маминых бумажек, лекарств, газет, в беспорядке разбросанных на деревянном подоконнике, он нашёл банку с растворимым кофе. Затем разбил на горячую сковородку два яйца. Посмотрел на часы и заторопился. Стел яичницу прямо со сковородки, как делал всегда, пока мама не видит, залпом выпил уже остывший кофе.

— Недолго, — крикнула мама.

— Как пойдёт, — ответил Данил.

Включил на телефоне музыку, надел наушники — и, уже ничего другого не слыша, бегом побежал по лестнице.

Данил совсем невысокий и очень худой. Тёмные волосы он выбривает с одной стороны, оставляя свисающую набок чёлку, как у Егора Летова, хотя знает его песни только по современным перепевкам. Узкие джинсы он подворачивает до лодыжек так, чтобы торчали носки с ярко-жёлтыми смайлами, он носит белые кроссовки, на которые копил несколько месяцев, и чёрную толстовку с капюшоном.

Он сейчас идёт быстро, руки в карманах, сердце бьётся в такт музыки. На телефоне новый альбом «Люмена», гремят барабаны. Под музыку Данил идёт ещё быстрее — она подгоняет, и сердце колотится, больно стучит в венах. Запись с концерта — слышны крики людей. Данил ещё не был на таком концерте, не прыгал в толпе, не кричал со всеми, но уже чувствует, как кровь начинает вскипать, и ему хочется бежать, бежать, куда — он и сам не знает.

Вдруг, сквозь этот грохот, Данил представил, как встаёт в квартире мама, как она идёт на кухню, моет за ним сковородку, чашку, про себя ругается — «опять не допил кофе, придётся выливать, а он стоит денег. И заварил слишком крепкий, сердце посадит. Ел без тарелки — безоблюдник, — оставил везде крошки». Нет, за крошки не станет ругать. Просто соберёт их тряпкой.

Завибрировал телефон — пришло сообщение.

«Ну чего, удалось свалить из дома?»

«Я же сказал, что смогу», — быстро написал на ходу Данил.

«Давай у метро. У палаток».

Данил познакомился с этим парнем в одном из пабликов «Вконтакте» и даже не знал, как его зовут и как он выглядит. Он скрывался под ником, а вместо фотографии — маска Гая Фокса.

На улице потихоньку стало рассветать. Маршрут знаком — мимо школы, в которой он учится уже десять лет, мимо старого полуразрушенного дома, где по утрам курит перед уроками и встречается с Олей, мимо длинного торгового центра с огромными рекламными щитами. Он открывался только в десять, поэтому людей почти не было. Зато круглосуточный магазинчик с цветами работал. Продавщица выбрасывала завядшие за ночь букеты — её смена заканчивалась. Она сбрасывала цветы в большой мешок, и они валялись теперь в одной куче — розы, тюльпаны, лилии. Некрасивые, мятые и ненарядные, как люди вечером, после работы, когда плетутся домой.

«Надо было взять кастет», — подумал Данил.

Кастет он недавно купил на Савёловском рынке. Купил просто так, потому что красивый и удобно ложился в руку. С тех пор он лежал в ящике стола — секретном месте, куда мама не заглядывает. Данил всегда туда прятал то, что скрывал. В начальной школе тетради с плохими оценками, в средней — сигареты, теперь вот кастет. Его он ещё ни разу не брал с собой, но сейчас подумал, как бы круто он смотрелся в руке, особенно если вскидывать руку вперёд, словно в приветствии.

Он уже спустился в метро, как его вдруг обожгла мысль — никто сейчас не знает, где он, ни один человек, и если что-то случится — его никто не найдёт. Поезд с грохотом вынырнул из тоннеля, остановился и поглотил людей, стоящих на станции. Данил был среди них.

Через сорок минут он вышел из стеклянных дверей на улицу и встал около палатки с пирожками. Неприятно пахло сыростью, дешёвой едой, восточными специями. Кругом было очень шумно: сигналили маршрутки, стояли в нестройный ряд такси, раздавалась ругань — таксисты не могли поделить клиентов, выясняли отношения. Крытые лотки были разбиты прямо на улице.

— Это ты Данил? — К нему подошёл незнакомый парень, казавшийся намного младше. — Я Дима. Есть курить?

Данил поискал по карманам:

— По ходу дома забыл.

— А деньги?

— А тебе продадут? — Парню на вид было лет четырнадцать.

Данил нашёл в рюкзаке сто рублей мелочью, и парень скрылся в небольшом магазинчике.

Толстая, некрасивая, в тёмно-зелёной форменной куртке, поверх которой накинута шерстяная кофта, тётка на улице продавала газеты. Она сидела на больших коробках, словно на троне, а рядом с ней, на прилавке, были неаккуратно разложены яр-

кие журналы. Продавщица ела сосиску в тесте, какие продавали рядом, и пила кофе из маленького пластикового стаканчика. Прямо над её головой висели старые журналы — выцветшие, обёрнутые в пакеты, — их можно было купить за полцены.

Данил отвернулся. Димы не было, и он уже решил, что тот его кинул.

— Зажигалка есть? Я не стал брать. Не хватило. — Данил обернулся — парень протягивал ему пачку «Винстона».

Закурили.

— Что-то стрёмно идти туда. — Данил усмехнулся, чтобы казаться храбрее.

— Первый раз, что ли? Да ладно, всё нормально будет. — Дима похлопал его по плечу. — Главное, если что — беги. Сваливай с главной улицы и петляй между домами. Только в подъезды не прячься. У меня друг как-то забежал, звонил во все двери — никто не открыл. В итоге ему чуть срок не дали.

Перешли улицу молча. Данил прокручивал в голове то, что услышал за эти пять минут. Это было больше, чем за всю его жизнь.

— Нам туда. — Дима показал на толпу посреди дороги.

Вся улица была заполнена людьми. Данил никогда не видел столько. С одной стороны стояли полицейские в форме, берцах и касках, которые Дима называл «шарами». Стояли плотным рядом — чёрные и мрачные.

— Это ещё мало! — весело ответил Дима. — Вот если бы на Маяковке было — до самого Кремля бы растянулись.

Ему явно всё это нравилось. Он хотел быстрее попасть внутрь — к людям, к плакатам, к лозунгам, но нужно было ещё пройти через металлоискатели. Данил открыл рюкзак, полицейский обшарил его, посветил фонариком, достал паспорт, зачем-то пролистал его, бросил обратно на дно рюкзака.

— Подними руки! — велел отрывисто.

Данил послушно поднял. Ощутимо больно ему прошили по рёбрам и спине.

— Пряма как обыск, — сказал Данил и посмотрел на полицейского.

Тот был очень высокий и большой, как гора. Огромная куртка и тяжёлые ботинки делали его ещё выше и больше. Казалось, ничто не может противостоять ему, и Данил с ужасом подумал — вдруг ему придётся убежать от такого, как этот, может быть, даже драться с ним.

Они с Димой встали с краю около заграждения. Люди вокруг молча держали свёрнутые плакаты. Данил поднялся на цыпочки, попытался рассмотреть, что впереди, но видел только спины людей. А люди продолжали приходить. Приходить и приходить. Проходить сквозь кордоны полиции, металлоискатели, молча вставать рядом с другими. Данилу уже зажали с одной стороны, и он прижался теснее к заграждению. Дима, точно щенок, вертелся вокруг се-

бя, вставал на мысочки, подпрыгивал. Он хотел вперёд — в самую толпу.

Данил обернулся назад, туда, откуда они только что пришли. Входа уже не было видно — везде чьи-то лица и спины. Ни конца, ни начала толпе. Казалось, двинуться было невозможно ни вперёд, ни назад. Все стояли мрачные, молчаливые, напряжённые. Ни одной улыбки, точно пришли на похороны. И он был среди этих людей. Ему стало страшно. А вдруг его раздавят в этой толпе? Вдруг он не выберется из неё? Стало вдруг трудно дышать, ему захотелось вырваться, подняться над толпой и посмотреть на неё сверху, но это было уже невозможно. Люди прибывали и прижимали его теснее к заграждению.

Там, за заграждением, в ряд стояли полицейские, и была уже другая улица. А здесь — плотная жаркая толпа. Данил попытался сделать шаг в бок, случайно задел полицейского и вздрогнул. Это был человек по другую сторону, и он не внушал уверенность, только страх, потому что сегодня он пришёл сюда защищать не их, а защищать от них ту улицу, которая казалась уже такой далёкой.

— Не бойся. — Дима казался увереннее

— Я не боюсь, — ответил Данил.

Вдруг над толпой загрела знакомая музыка. Люди немного ожили. Кто-то рядом с Данилой стал подпевать, кто-то качался в такт, словно они все были на концерте, а не на митинге. Толпа зашевелилась — люди стали разворачивать листовки.

Плакаты взмыли вверх, и музыка гремела над улицей и над толпой.

— Перемен! — кричал Дима, — перемен! Мы ждём перемен!

Люди размахивали в такт флагами. Это были реальные люди. Не люди из новостей или передач. И их было много — улица не вмещала всех.

Один плакат особенно бросался в глаза. Маленький белый лист бумаги, на котором большими чёрными буквами, словно повторяя слова песни, было написано:

«МЫ ХОТИМ ПЕРЕМЕН».

Плакат тоже качался под музыку.

Вдруг толпа пришла в движение. Словно по команде, она двинулась вперёд, и Данил вместе с ней. Люди кричали лозунги:

«Мы здесь власть!»

«Посчитайте нас!»

«Нет тоталитарному государству!»

Данил озибался вокруг в поисках хоть какого-то свободного места — ему было трудно дышать. Но везде стояли, шли, кричали люди.

Вдруг на секунду наступила тишина, словно передышка между перестрелками, когда противники одновременно перезаряжают оружие. Потом кто-то громко крикнул:

— Россия будет свободной!

Этот крик прозвучал так страшно над тишиной огромной толпы, что все поневоле вздрогнули и посмотрели друг на друга.

Потом крикнули ещё:

— Россия будет свободной!

Потом ещё. Ещё и ещё. Вся толпа закричала в один голос, в один момент.

— Россия будет свободной! Россия будет свободной!

Застучали в ладоши — три раза под каждое слово — Россия! Будет! Свободной!

Одно слово — один хлопок.

Россия!

Будет!

Свободной!

Раскатывалось по толпе, точно эхо в горах.

Дима тоже кричал, и Данил стал невольно повторять за ним. Сначала тихо, потом громче и громче. Его страх вдруг прошёл, и ему стало хорошо в этой толпе, среди незнакомых людей. Толпа развернулась, как по неслышному приказу, и пошла к полицейскому заграждению, скандируя. Туда, где стояли металлоискатели и куда идти было уже нельзя. Данил пошёл вместе с ней.

— Началось! — крикнул восторженно Дима.

— Что началось? — спросил Данил, но ему уже никто не ответил.

Его сердце радостно, но больно забило — от музыки, от людей, от слов, которые теперь постоянно звучали в его голове, от этого движения, оттого, что он был теперь частью этого движения. Он шёл и кричал, пока не уперся в полицейский кордон. Дальше — спокойная улица и обычная жизнь. Дальше идти так — с криками и плакатами — нельзя. Он резко остановился и в упор посмотрел на людей в чёрной форме.

Полицейские ничего не говорили. Они тупо и устало смотрели на происходящее. Казалось, они сами хотят оказаться по другую сторону города, где ничего этого нет. Там, где тихие дома, мирный свет в окнах, машины ездят, люди ходят, собаки лают. Данил обернулся назад — толпа шла, скандируя — «Россия будет свободной!»

Полицейские напряжённо, но уже привычно, без суеты, начали вставать теснее по периметру заграждения, образуя чёрный квадрат. Данил развернулся и пошёл в сторону кричащей толпы.

— Как в институте? — Мама ещё не спала, когда Данил наконец добрался до дома.

— Нормально, — соврал он. — Потом ещё в магазин поехал. Короче, долго получилось.

Мама никогда не засыпала, если его не было. Она ждала. Лежала у себя в комнате, без света, смотрела на экран телефона.

— Ты ходи. Может, тебя возьмут на бесплатное.

— Да не знаю. Там сложно всё.

— Ну кому-то же везёт.

— Кому-то везёт, — повторил Данил.

Мама вздохнула:

— Там курочка есть с макаронами. Погреешь?

Мама всегда оставляла еду ему на столе, среди своих лекарств, газет, телепрограмм, которые она



тоже оставляет, чтобы не забыть выпить, прочитать, посмотреть. Но всегда забывает. Телепрограмма... Данил раздражённо берёт одну.

— Зачем их только печатают. Никто и не покупает уже. — Он швыряет в сторону, прямо на пол.

— Нам бесплатно дают, — оправдывается мама.

Но она покупала их и отмечала ручкой, что надо посмотреть, хотя никогда не смотрела. Некогда.

— Тебе погреть? — Мама крикнула уже из комнаты.

— Не, я сам.

Значит, будет есть холодное. Мама знает это, но не встаёт. На работу рано. Каждый будний день она ездит в Балашиху. Сначала на метро, потом на электричке, а там на маршрутке. Дорога занимает два часа, а на работу к девяти утра.

— Мам, — Данил постучал в комнату, — ты не спишь?

— Засыпаю. А что? — голос уже сонный.

— Ничего. Просто.

Данил приоткрыл дверь и заглянул. Маленькая комнатка — чуть больше, чем у Данилы. Тишина и темнота. Только часы тикают. Около стены диван с мятой простынёй. Рядом с диваном стул с горой вещей. Полуоткрытый шкаф со сломанной дверцей, которую надо починить, но всё некогда. Старые картины на стенах, которые мама покупала, когда ещё ходила в музеи. Всё это знакомо Даниле, но сейчас он как будто заново это увидел.

— Посмотри, у меня вчера будильник не сработал, — просит мама.

Данил берёт мамин телефон, простой, даже без выхода в интернет — их сейчас называют бабушкафоны. Повертел его в руках — экран целый, только кнопки немного стёрлись. Завёл будильник на шесть утра и отдал обратно.

Потом прошёл в свою комнату. Сел на разложенный диван, который никогда не собирал, и огляделся. Обои, которые он помнит ещё с детства, в коричневый ромбообразный узор, рябили в глазах. Стол с обломанными углами, который вместе с отцом тащили от родственников. Компьютер, который купили, когда отец ещё был жив. Он всегда включён. Мигает сообщение.

«Спокойной ночи», — от Оли.

«Спокойной ночи», — машинально в ответ.

«Завтра увидимся. Целую», — много-много смайлов.

Данил долго сидел и смотрел на мигающий экран, а видел тех людей, которые были сегодня на митинге, и слышал лозунги. Хотелось курить — но мама могла почувствовать дым. Лёг, не раздеваясь, и тут же уснул. Потом погас экран на компьютере — и сегодняшний день исчез.

## 2

Утром Данил всегда встречался с Олей около заброшенного дома, который находился рядом со школой, но немного в стороне, поэтому можно было не

бояться, что их кто-то увидит, но при этом не опоздать в школу. Дом был белого цвета, поэтому его так и называли — Белый дом. Он был двухэтажным и таким ветхим, что казалось, вот-вот развалится. На первом этаже окна были забиты или разбиты, но на втором горел свет, значит, люди там всё-таки жили. По всему корпусу виднелись крупные трещины. Вечерами этот дом наводил ужас, но утром это была обычная развалюха.

— Ты чего так долго? Опоздаем же. — Оля всегда приходила немного раньше Данилы.

Она не любила опаздывать в школу, особенно по понедельникам, когда на первые уроки заходил их классный руководитель.

— Успеем! Пойдём, посидим пять минут! — улыбнулся Данил и обнял девушку.

Во дворе стояла лавочка — крашеная-перекрашенная, но гораздо целее и новее, чем сам дом. Данил полез за сигаретами и машинально достал две пачки. Тут же вспомнил, что вчера одну купил Дима.

— Откуда две? — спросила Оля.

— Вчера купил зачем-то.

— Ты же говорил, что дома будешь.

— Да курить захотел. А сам пачку дома забыл. Не возвращаться же! Пришлось купить.

Данил и сам не знал, почему врал Оле. Почему не рассказал ей, где был? Только чувствовал, что есть вещи, о которых он не должен ей говорить.

Закурил. Теперь пять минут можно было спокойно посидеть, расслабиться и не торопиться. Данил сел на лавочку и положил рядом рюкзак.

Оля села ему на колени и обняла его. У неё были длинные светлые волосы, которые она обычно заплетала в хвост, открывая высокий лоб. Данил никогда не говорил ей, но ему нравились её волосы: нравилось то, как они лежат, то, как от них пахнет, то, как они слегка касаются его лица. Такого приятного запаха он не чувствовал ни от кого. Запах Оли был особенный, к нему хотелось прикоснуться, и Данил ловил себя на мысли, что он старается каждый раз подойти к ней ближе, чтобы ещё раз почувствовать её запах, вдохнуть его и запомнить.

Данил курил в сторону, чтобы не дымить на Олю, а она прижималась к нему всё сильнее. Была уже половина девятого — время начала уроков, — но идти не хотелось. Хотелось сидеть так весь день.

— Вчера отец приезжал, — сказала Оля и сразу погрустнела.

— Опять загрузил? — Данил напрягся. Он не любил отца Оли, а тот не любил его.

Он считал, что такой, как Данил, не пара для его дочери, что она достойна лучшего, что ему никогда не стать успешным и богатым и он вряд ли сможет дать Оле всё то, к чему она привыкла. В этом Данил был согласен с её отцом — их семьи были совершенно разные. Но Оля ему нравилась и уступать её никому он не собирался.

— Про тебя говорил. Спрашивал, вижусь ли я с тобой.

— А ты что?

— А что я? Я сказала, что вижусь в школе. Вообще, это не его дело. Приезжает раз в месяц и хочет всё контролировать.

— Но ты не сказала ему, что это не его дело?

— Как я такое скажу? Нет конечно!

— Ясно!

Данил докурил, движением пальцев отбросил окурок подальше от себя и встал. Наступил белыми кроссовками в грязь и выругался.

— Вот блин, теперь не отмоешь! — Он хотел отряхнуть их рукой, но бросил — всё равно так не ототрёшь. — Надоел этот свинарник везде. Свалить бы из этой страны!

— Ты что, не в настроении? — Оля попыталась его обнять. — Из-за отца расстроился? Да брось ты. Мне его мнение не важно.

— Но ты же ему не сказала это?

— Я просто не хочу с ним ссориться! Какой смысл? Его не переделаешь.

— Как он вообще может что-то тебе говорить? Приезжает раз в год!

— Вот поэтому я и не говорю ему ничего. Он в этот раз вообще спросил — куда я поступаю. Он даже не знал, что я только в десятом!

— Ладно, всё нормально. Я не выспался просто. Плевать. Пора идти. — Данил оттолкнул Олю и пошёл вперёд.

— Почему ты всегда так быстро заводишься? Тебе ничего рассказать нельзя! — Оля шла следом. — Я тебе не буду больше ничего говорить.

Данил закурил по дороге ещё одну сигарету.

— Ты что! Увидят же!

— Мне плевать, — процедил он и пошёл быстрее.

Оля еле поспевала за ним — она была в узких джинсах, кожаной курточке и в туфлях на высоких каблуках. Данил обычно брал её за руку и шёл, обходя лужи, но сегодня он словно специально наступал на грязь, всё сильнее пачкая свои и без того уже чёрные кроссовки.

На урок они всё-таки опоздали. Классный руководитель уже стоял в дверях.

— Давайте на места, — прикрикнул он.

Оля не попрощалась и побежала дальше по коридору, в свой кабинет, а Данил сел за парту и достал телефон. Тут же открылась ссылка на новости.

«Несколько тысяч человек пришли на антиправительственный митинг в Марьино».

Под статьёй фотография — море людей и плакаты.

— Что это? — Сосед по парте заглянул через плечо.

— Да фигня всякая. — Данил выключил экран.

Ему не хотелось говорить об этом. Ему казалось, что никто не поймёт. Он вспомнил вчерашних людей. Они все были разные, с разных концов Москвы, но их всех что-то объединяло. А он сидел здесь, в этом классе, в котором проучился почти одиннадцать лет, как чужой — он никому не мог бы показать

это фото в телефоне. Он огляделся вокруг. Все были заняты своими делами. Кто-то списывал домашку, кто-то копался в планшете, кто-то спал.

Прозвенел звонок. Данил встал около своего места, приученный к порядку за столько лет. Все стояли сонно, безразлично глядя перед собой, но ровно, как привыкли. Вдруг он заметил прямо перед глазами, над доской, портрет президента. Он не замечал его раньше, а сегодня тот как будто смотрел только на него, и Данил не мог отвести взгляд. Президент смотрел так пристально и подозрительно, будто Данил в чём-то провинился.

Первый урок всегда проходил быстро, а на перемене опять зашла Оля. Она села на парту напротив и положила ногу на ногу. Данил невольно любовался ею и заметил, что не он один.

— Пойдём на подоконник? — позвала Оля.

Они всегда там встречались между уроками, но сегодня Данил не хотел никуда идти. Его почему-то раздражало, что другие смотрят на Олю и что она не стесняется этого, а, наоборот, показывает всем, какая она красивая.

— Перемена маленькая, — ответил он. — Не успеем.

— Иногда с тобой невозможно общаться. — Оля обиделась, слезла с парты и ушла, стуча каблуками.

Данил опустил голову на руки и закрыл глаза.

Сосед толкнул его в плечо:

— Ты какой-то мутный сегодня.

— Отстань!

Начался второй урок. Все опять встали, и портрет снова появился перед глазами, потом скрылся за чьей-то головой, и всё вокруг опять казалось обычным и сонным.

На большой перемене Оля не вышла. Данил ждал её около школьного музея, в закутке, где обычно они встречались, но её не было. Он ходил взад-вперёд вдоль закрытых дверей музея и ждал. Достал телефон и включил музыку. Заиграла медленная песня — длинный проигрыш на клавишах и знакомый голос.

— Опять свою ерунду слушаешь? — Кто-то выдернул наушники.

Музыка резко оборвалась. Прямо перед ним, загораживая проход, стоял высокий одноклассник Оли. Она говорила, что тот предлагал ей встречаться год назад и до сих пор иногда пишет.

— Что надо? — Данил убрал телефон.

— Олю ждёшь? Не пришла?

— Тебе-то что?

— Поругались?

— Не надейся.

Он не уходил, словно хотел что-то сказать. Данил прислонился к двери музея. За тёмными окнами висели старые советские военные плакаты.

— Я хотел спросить про Олю, — начал он.

— Что? — Данил напрягся.

— Ты уверен, что подходишь ей?

— Слушай, отвали, — разозлился Данил.

Он хотел пройти, но тот был выше и крупнее и по-прежнему стоял в проходе. Минуту они смотрели друг на друга, как два быка, встретившиеся на арене.

— Слушай, она тебя всё равно кинет...

— С чего вдруг?

— Ну, сам подумай. У тебя же нет ничего. Думаешь, на что они все ведутся? На бабки. А у тебя их нет.

— Я тебе говорю — отвали. Это вообще не твоё дело. — Данил сжал наушники в кулаке.

— А ты знаешь, что я теперь с её отцом работать буду? Он меня берёт в свой бизнес. Он новый фитнес-клуб открывает, и я буду там управлять всем. Оля тебе говорила?

— И что? — Данил подошёл в плотную к нему и плюнул прямо под ноги. — Думаешь, тебе теперь все должны? Лучше отвали от меня.

— Или что?

Данил посмотрел на него, ничего не ответил и ушёл.

В классе написал Оле смс, но она не ответила. После школы она тоже к нему не вышла. И телефон её не отвечал.

На следующее утро, когда Данил один, без Оли, которая почему-то опять не пришла, стоял у Белого дома, ему написал Дима.

«Свободен сейчас?» — Его ник в «Вконтакте» был уже таким знакомым.

«А что?» — Данил даже обрадовался, будто они вместе прошли длинный и опасный путь.

«На акцию сходить можно».

Данил замер. Про политические акции он читал, но ещё ни разу не видел их своими глазами. Он знал, что людей на акциях арестовывают, штрафуют, что приходится ругаться с полицией, убегать, а потом фотографии с таких акций мелькают в интернете.

Данил не отвечал, потому что не знал, что делать. Через пятнадцать минут должны были начаться уроки. Он смотрел в ту сторону, откуда должна была прийти Оля, но её не было. Он постоял немного, покурил и написал Диме.

«Где и когда?»

«На Чистых. Через полчаса».

На Чистых прудах всегда людно. Особенно сейчас, в час пик — люди бегут на работу и ничего не замечают. Дима стоял в центре зала не один — рядом с ним была девчонка с яркими красными короткими волосами, стоящими торчком острыми шипами. Она что-то писала в телефоне и даже не посмотрела на Данилу.

— Нам наверх, — быстро скомандовал Дима.

Когда вышли из метро, он достал сигареты и протянул всем. Закурили молча. Данил косился на девчонку с красными волосами, но та надела капюшон от толстовки, почти полностью скрыв лицо, и по-прежнему не произнесла ни слова. Они пошли по аллее мимо пустых лавочек, небольших прудов. Данил здесь раньше не был, хотя это не так далеко от его дома — всего четыре станции на метро.

Он вообще мало где был. Свой район, конечно, знал. Этот район все называли «неблагополучным» — рядом магазин «Метро», склады, бывший завод, где работал когда-то давно отец, а теперь вечная стройка, железнодорожные пути, около которых всё время сидят бомжи. Ничего больше Данил пока и не видел, и сейчас ему не верилось, что всё это происходит с ним, не верилось, что он идёт за Димой и молчаливой девчонкой, скрывающей от всех своё лицо. Куда?

Остановились у незнакомого памятника. Дима достал из спортивной сумки, которую нёс, три белые футболки и стопку листовок. На футболках чёрным цветом была большая надпись — на одной стороне «Я НЕ БОЮСЬ», на другой — «ГОВОРИТЬ ПРАВДУ».

— А что на листовках? — Данил взял одну.

На ней была нарисована женщина в красном плаще, связанная, с заклеенным ртом, похожая на известный военный плакат — «Родина-мать зовёт», который висел в школьном музее. Только здесь была другая надпись — «Они продают твою Родину». А на груди связанной женщины висела табличка — «Продается».

Листовка была впечатляющая.

— Круто! — сказал Данил. — Сам сделал?

— Ребята помогли. Значит, план такой. Надеваем футболки, берём листовки. Расходимся по разным концам бульвара. Я — к метро. Ты — в другую сторону. Алёна — к тем домам.

«Значит, её зовут Алёна», — невольно подумал Данил.

— Задача — раздать как можно больше материала, — продолжал Дима. — Раздал — возвращаешься к памятнику. На всё примерно два часа. Встречаемся здесь. Понятно?

Данил скинул толстовку, надел белую футболку прямо на чёрную водолазку.

— Ничего? — спросил.

— Нормально!

Футболка была немного велика, и из неё торчали длинные рукава, а прямо на груди чёрная надпись — «Я НЕ БОЮСЬ». Данил разглядел надпись, чтобы была виднее. Алёна сняла кофту и оказалась очень хрупкой девушкой в яркой майке. Она быстро надела футболку, кофту повязала на поясе, профессионально отсчитала себе нужное количество листовок и, не говоря ни слова, пошла к домам, куда указал ей Дима.

— Кто это? — спросил Данил, когда она ушла.

— Девчонка из бессрочного протеста. — Дима махнул рукой.

Толстовки убрали в сумку, и Дима повесил её на плечо.

— Теперь самое главное, — сказал он. — Что бы ни происходило — друг к другу не подходим. Лозунгов не выкрикиваем. Ни с кем не говорим. На провокации не ведёмся. Если будут заговаривать — отходим на сто метров. Если не отстают — снимаем футболки и возвращаемся. Ментов видим — стоим спо-

койно. Подойдут — говоришь — «у меня одиночный пикет, согласования не нужно». Но если будут возбуждать — не возражаешь, идёшь с ними, отсиживаешь в обезьяннике два часа, потом валишь домой. Они связываться с малолетками не будут — попугают только и отпустят. Запомнил?

Дима был очень серьёзный. Казалось, он даже стал взрослее и смелее. Он наверняка мог бы пойти и один на этот пикет, а Данил бы на такое ни за что не решился.

— А почему мы не можем пойти вдвоём? — спросил он.

— Потому что пикет одиночный. Двое — уже митинг. А за это — уголовка. Поэтому стоим по одному и не шумим. Всё понятно?

Данил слушал и не верил, что он здесь. Одиночный пикет... Уголовка... Менты... Обезьянник...

— Понял. Не кричать, не говорить, не ходить, по двое не стоять.

— Точно! Сверим время.

Достали телефоны. Было десять часов.

— В двенадцать жду здесь. Давай ещё по одной.

Достали сигареты. На этот раз угощал Данил.

— И ещё, — добавил Дима, — если заберут — друг друга не выдаём. Никого не знаю, никого не видел, никого не помню. Сообщения мои из «ВК» удалены по дороге. Всё, пошли. — Дима бросил окурки.

Данил неуверенно пошёл к прудам.

— Не бойся, — крикнул ему Дима.

— Я не боюсь.

Но это была неправда.

Данил медленно шёл вдоль прудов. Он встал в конце бульвара — и просто стоял, держа в руках листовки, ещё не решаясь начать их раздавать. Ему казалось, что все вокруг смотрят только на него, но люди бежали мимо. Где-то маячили полицейские, но они тоже не обращали на Данилу никакого внимания. Он сел на бордюр. Было холодно — начинались октябрьские короткие дни. Данил достал телефон — пришло сообщение от Оли.

«Что делаешь? Почему не в школе? У нас скука. Химичка не уймётся. Достала уже. Ты где?»

«Сегодня не приду. А ты куда вчера пропала?» — написал в ответ.

«Да отец опять грузил вчера. Не могла вырваться. И сегодня до школы вёз».

Значит, они ещё вместе. Данил улыбнулся. Всё вокруг стало немного другим, и уже казалось странным, что он здесь. Как будто это не он, а кто-то другой. Что он здесь делает? Ещё раз посмотрел на листовку, потом на свою футболку. Вспомнил про Диму и Алёну. Набрался храбрости и встал. Нужно было довести дело до конца — он не привык отступать на полпути. Вытянул руку с листовкой.

Люди иногда оборачивались, что-то говорили друг другу, но шли дальше. Данил боялся сделать шаг и превратить свой одиночный пикет в шествие. Он продолжал стоять на одном месте, и тут же замёрз без движения, но от страха не чувствовал ничего. Он

ощущал себя революционером, о которых им рассказывали на истории, и одновременно государственным преступником.

Какой-то парень, не многим старше Данилы, подошёл к нему вплотную так, что Данил вздрогнул. Дима чётко сказал — не говорить и не стоять по двое. А может, этот парень — провокатор? Он читал про них. И как только Данил сдвинется с места и откроет рот — он тут же позовёт полицию. Данил сделал полшага назад и протянул ему листовку. Парень взял её машинально, безучастно просмотрел и сунул в задний карман джинсов.

Одна листовка была роздана. Осталось около ста. Людей прибавлялось — Москва спешила по делам, — и листовки стали расходиться. По домам, офисам, школам. Кто-то фотографировал их на телефон.

«Всё, я попал», — подумал Данил.

Но было уже всё равно. Он стал ощущать себя частью чего-то большого и важного. Он стоял сейчас один против целой системы. Через два часа зубы стучали от холода, а руки онемели. Осталось листовок двадцать. Данил убрал их в карман и пошёл к памятнику.

— Ну как? — Дима был уже там.

— Замёрз ужасно. Вот осталось. — Он протянул листовки.

— Оставь себе.

— А ты как?

— Я раньше пришёл. Один докапывался — пришлось уйти к Макдаку. Но там даже народа больше. А ты чё футболку не снял? Я же говорил.

Данил деревянными пальцами стащил футболку и надел толстовку.

— А что это за памятник? — спросил он, заикаясь от холода.

Дима посмотрел на памятник, около которого они переодевались.

— Да поэт какой-то. То ли киргиз, то ли казах.

Данил посмотрел на этого поэта. Прочитал на памятнике:

АБАЙ КУНАНБАЕВ  
Казахский поэт и мыслитель

— Это же здесь сидячая забастовка была, — вспомнил Данил, — я совсем мелкий был. Тут лагерь разбили. Сразу после Болотной. Он ещё как-то так назывался... Оккупай, кажется!

— Ага! Я помню что-то смутно. Там ещё пересажали всех.

— Точно! Мне отец показывал в новостях.

— Мой вообще помешан был. Ехать хотел — бабушка тормознула.

Поэт сидел на высоком камне. Глаза его были закрыты. Одну руку он положил на книгу, другая просто была опущена вниз. Сидел, словно задумавшись о чём-то, не обращая ни на кого внимания.

— А где Алёна? — спросил вдруг Данил.

— Она уже уехала. Понравилась, что ли? — Дима усмехнулся. — Забудь. Её интересует протест.

— У меня уже есть девушка, — сказал, зачем-то оправдываясь, Данил.

— Пойдём в Макдак. Есть охота.

В Макдональдсе немного согрелись. Взяли привычный набор: гамбургеры, «кока-колу», картошку. Нашли пустой столик у окна.

Данил смотрел на людей — никто не изменился. Они и сами сидели в Макдональдсе, ели, как будто не стояли только что на одиночном пикете.

— В ноябре готовится большой митинг, — сказал Дима. — В центре. Пойдёшь?

Данил задумался. Он смотрел в окно — какой-то оборванный, грязный мужик кланчил у прохожих еду. Все проходили мимо и не обращали на него никакого внимания. Привычная картина — бомж у Макдональдса — не вызывала даже отвращения. Он был ещё нестарый, не инвалид, но протягивал руку и грубым голосом кричал:

— Я есть хочу! Не надо денег, дайте поесть!

— Ты давно в паблике? — спросил Данил, чтобы отвлечься.

— Около года. А ты?

— Только пару месяцев. — Данил почему-то улыбнулся. — А ты... Ты почему этим... — он не мог подобрать слова, — занимаешься?

Дима недоверчиво сощурил глаза.

— Как и все, — ответил он, — а ты точно не провокатор? А то все боятся.

Данил задумался. Действительно, он мог быть кем угодно. Но и Дима тоже.

— Я не провокатор, — сказал он, — а вообще пока в этом не особо разбираюсь.

— А что тут разбираться? Это же бессрочка — то есть ты просто выходишь на акции, когда хочешь, ни перед кем не отчитываешься. Или подваливаешь к кому-нибудь в тусу. Мне кажется — круто. Можно по всей Москве шататься. Это тебе не какая-нибудь Болотная, где старичьё одно было. Это вообще другое!

— А ты знаешь про Болотную? — прошептал Данил. Он не хотел шептать, он хотел сказать открыто и громко, но получилось только прошептать.

— А что про неё знать? Ну вышли, ну разогнали всех. И что? Батя говорил — то же самое в девяносто третьем году было, когда он только из армии вернулся. Рассказывал — пришёл, а тут танки по центру ходят, прикинь? Стреляют все. Там вообще такой махач был. Батя думал — назад, в армию, мотать. Короче, фигня эта Болотная. У бати там чуть друзья не сели. Он их из ментовки вытаскивал.

— А твой отец тоже там был?

— Не, он не может. Он только в Инете смотрит.

Дима отвернулся. Наверное, не хотелось говорить лишнего. Но сказал:

— Он сидел.

— За что? — почему-то спросил Данил. — За это?

— Да нет! — Дима махнул рукой. — По молодости. Баба одна накатала на него. Дали восьмёрку.

Вернулся, когда я был в пятом классе. Я с бабушкой жил.

— А он работает сейчас?

— Работает, когда не колдырит. Но на нормальную работу его всё равно не берут.

— И как же вы живёте?

— Бабушка на пенсии. Я в шиномонтаже подрабатываю. После девятого в строительный колледж пойду. Там стипендию платить будут. А вообще думаю свой шиномонтаж открыть. Я в этом нормально так секу.

Данил вспомнил все эти разговоры дома и в школе — куда поступать после одиннадцатого, что делать, где учиться, как сдать экзамены — и поморщился. Осталось меньше года — а он ещё не знал, куда ему идти.

— Всё-таки интересно, как там было? — спросил Данил.

— Где?

— На Болотной...

Данил произносил это слово вполголоса.

— Да что ты с этой Болотной! Ты думаешь, там было главное? — Дима даже как будто усмехнулся. — Всё начинается здесь и сейчас!

Данил посмотрел в окно. За окном шли люди, которым можно было раздать оставшиеся листовки, а под столом лежала сумка с футболками. Данил заделвал её ногами.

— Что начинается? — спросил он.

Дима не ответил. Бомж всё не унимался. Он теперь сидел на асфальте, повторяя одно и то же. Гамбургер уже не хотелось. Данил решил было отдать его бомжу, но передумал — перед Димой неудобно.

— А твоя мама где? — спросил Данил.

— Долгая история! Пойдёшь со мной в колледж?

— Не знаю. Я не решил ещё. Может, в институт пойду.

— Зачем? Отец у меня учился в институте — и что? Он говорил, что таким на зоне было даже хуже.

Данил опять отвернулся. Он представил себе, как живёт после тюрьмы отец Димы. Как встаёт утром, наливает себе выпить, варит сосиски или пельмени, а потом целый день сидит перед телевизором и переключает каналы. Или читает в интернете новости.

— Вообще, я свой блог веду, — сказал Дима. — Только ещё над названием думаю. Чтобы звучало и запоминалось. Чтобы круто было. У меня есть пацаны в Интернете, кто со мной. Во всех городах поднимаемся. Расшатаем систему. Я тебе кину ссылку — посмотришь. Я там очень круто всё пишу. Надо только засветиться где-нибудь. Не на пикетах — это вообще фигня, а на чём-нибудь реальном. Может, вломиться в музей какой-нибудь? Или файер зажечь где-нибудь? Что думаешь?

— Не знаю. Не боишься? — Данил и пожал плечами.

— Да что они нам сделают? Пока восемнадцати нет — ничего не могут. Вообще, если что — приезжай



ко мне в шиномонтаж. Я тебе адрес скину. Там Тимур всем заправляет. У него и подблатрачить можно.

В метро Дима пожал Даниле руку. Это значило — друзья.

Дома Данил вспомнил, что у него остались листовки. Он убрал их в ящик своего стола под фотографию отца.

### 3

О своём отце Данил с мамой не говорил с тех пор, как тот умер. Они вместе, не сговариваясь, молчали, словно решили забыть о нём и никогда больше не вспоминать. Будто его никогда и не было. Хотя Данил знал, что мама тайком от него ездит на кладбище, где похоронен отец, а сам Данил тайком от мамы спрятал в ящик стола фотографию отца и иногда достаёт её и смотрит на того человека, на кого, как сказала однажды мама, он сильно похож.

— Никогда так больше не говори! — крикнул тогда Данил. — Он бросил нас. И я не хочу быть таким, как он.

Своего отца Данил знал не очень хорошо. Тот много работал — делал ремонты, строил загородные дома далеко от Москвы — и редко приезжал домой. Приезжал обычно зимой, в начале декабря, когда заканчивался сезон, а уезжал обратно на объект уже в конце марта, когда сходил снег. Получалось, что дома отец жил всего четыре месяца — и за эти четыре месяца нужно было привыкнуть к нему, полюбить его и научиться ему доверять. Это получалось не всегда, но каждый раз, когда отец уезжал, Данил смотрел в окно и не знал, хочет ли он, чтобы тот вернулся.

Про работу отец никогда не рассказывал, не брал сына с собой, даже летом, и не говорил точно, куда едет.

— Под Воскресенском. Тебе о чём-то скажет? — грубо отвечал он матери.

— Хоть адрес оставь. Мало ли что.

— Тебе сообщат, если что.

Отец работал один. У него были напарники, но никто не выдерживал его тяжёлого характера. Он был угрюмый, всё делал молчком, в свои проблемы никого не посвящал. А проблемы были.

Однажды отец приехал домой без денег. Мама всё спрашивала, а отец молчал — Данил подслушивал их разговоры. Недельку отец ходил мрачный и злой, потом уехал, а вернулся через несколько дней уже с деньгами. Бросил их на стол:

— Триста. Больше не будет.

— Полгода работал, и только триста? — Мать не поверила. Отец обычно привозил в два раза больше. — А на что мы жить полгода будем?

Отец молчал, а вечером Данил увидел у него на макушке кровь.

— У тебя голова пробита, — сказал он, — надо к врачу.

— Ерунда, — отец махнул рукой, — кровь вытекла, значит, ничего не будет.

— Тебе что, не заплатили?

Но отец, как всегда, не ответил. Хотя и так было понятно.

Тогда-то он впервые запил. Пил он не по-чёрному, не на улице, не так, как другие отцы, а дома — тихо, спокойно. Но много. Целый месяц Данил выносил пустые бутылки и приносил новые.

— Что, пьёт? — спрашивали соседи. — Сильно?

— Да так. — Данил пожимал плечами и кивал на бутылки.

Отец никого никогда не слушал, и никто не мог ему перечить и не смог бы остановить, кроме Данила. Поэтому в начале января сразу после Нового года, Данил начал уговаривать отца поехать к врачу.

Наркологический диспансер находился рядом с домом, на Сушёвском валу, и надо было пройти всего полтора километра, но идти отец уже не мог.

— Да я сам остановлюсь, — говорил он, — дай мне ещё недельку.

— Нет, нельзя неделю. Надо сейчас. Пойдём.

— Сейчас... — отец пытался одеться, — а как мы пойдём?

— Тут недалеко, дойдём.

— Нет, я не пойду. Я не дойду.

— Давай на маршрутке.

Данил говорил с ним, как с ребёнком, — тихо, точно уговаривал. Но отец был упрямый. Если не хочет — ни за что не будет делать. Но и Данил был упрямый.

— Ну пап, — не отставал он, — пойдём.

Отец оделся. Он теперь сидел на кровати — худой, осунувшийся, в новой, но уже грязной белой куртке на молнии. Опустил голову, сжав виски руками.

— Голова болит, — сказал он тихо. — Дай покурить сначала. Принеси.

Данил поискал сигареты в сумке отца, сходил в ванну — где обычно он курил.

— Нет нигде, — крикнул.

— Посмотри в куртке, в кармане, не могу сам.

Данил подошёл к отцу. От него пахло перегаром и одеколоном — отец с утра безуспешно пытался побриться. Залез в карман его куртки, достал пачку сигарет.

— Зажги, — попросил отец.

Руки у него дрожали. Данил зажгёт сигарету, сам раскурил. Дал отцу. Отец задымил. Пепел упал на пол. Данил побежал за пепельницей. Отец, весь красный, сидел и курил. Вены на висках вздулись — вот-вот лопнут.

— Плохо мне что-то, — сказал и хотел лечь на кровать.

Данил быстро заговорил:

— Вот и пойдём. Там лучше станет.

Через час он согласился. Было скользко, и они шли с трудом. Отец держался на ногах еле-еле и через триста метров упал.

— Нет, я не могу.

Данил попытался его поднять.

— Давай до метро дойдём, а там маршрутка есть.

Они прошли ещё триста метров до метро. На остановке было полно народу — продолжались новогодние праздники. Пошёл снег, и Данил надел на отца шапку. Он боялся одного — встретить кого-нибудь из школы. А потом ему вдруг стало всё равно. Это был его отец. Какой бы он сейчас ни был — но это был его отец.

— Пап, — сказал Данил, — не пей больше.

Он держал отца за плечи, чтобы тот опять не упал.

— Кругом только сволочи, Дань. Платить не хотят, а сами воруют вагонами. Мы к одному приехали, а у него зоопарк в доме, представляешь? Настоящий зоопарк! Одна спальня — триста квадратов! Вот откуда? Обычный чиновник, не крупный даже. Так — мелочь, монета разменная. А он сто тысяч зажал. Для него сто тысяч — это один раз в кабак сходить. А нам жить месяц. А он зажал, гнида! Платить не захотел. А ведь ничего ты ему не сделаешь. Ничего! Разве только закапать где-нибудь! А. — Отец махнул рукой. — Мне уже всё равно! Тебе жить!

— Пусть сволочь, гнида, а ты не пей.

— Мутно мне, Дань. Мутит что-то.

На обратном пути было хуже.

— Он должен заснуть минут через тридцать. Надо его к этому времени уложить, — сказала врач.

Она, привычная ко всему и ничему не сочувствующая и не удивляющаяся, вколола что-то отцу, дала таблетки, завернутые в бумажку, и что-то писала в карточке. Данил следил, как она быстро и непонятно пишет.

— А мать где? — спросила она, не отрываясь.

— Работает, — ответил Данил.

— Довезёшь сам или в больницу оформить?

— Довезу.

Отец сидел, бессмысленно смотрел в одну точку.

В маршрутке он стал засыпать. Данил сел с ним на переднее сиденье около водителя. Отец бормотал какую-то ерунду — вспоминал друзей, которых уже не было на свете.

— Вот Вовка хороший мужик. Много чего у нас было, но мы выжили.

Дядя Володя, как называл его Данил, давно уже умер — в сорок лет от воспаления лёгких. Он тоже пил, но лечиться не хотел.

— Ты знаешь Володьку? — спросил отец громко.

— Знаю.

— Так позвони ему, на, — отец стал искать мобильный по карманам, — скажи, я сейчас приеду.

Телефон не находился. Отец вывернул карманы — из них посыпалась мелочь, какие-то бумаги, номера телефонов. Отец всегда записывал всё на листках — телефон он часто терял.

— Где мой телефон? Ты взял? — крикнул водителю.

Водитель молчал и не реагировал, тоже, как и врач в диспансере, привыкший ко всему. Потом отец резко отключился, как будто ему дали по голове. Вся маршрутка это видела.

Водитель остановил около метро.

— Пап, вставай, мы ещё не дома, — будил его Данил.

— Мне сказали, спать, — бормотал отец, — чего тебе надо? Кто это? — Он как будто не понимал, где находится. — А?

Маршрутка стояла дольше обычного, пока Данил с водителем выгружали отца из салона. Никто из людей не возмущался — для рабочего района картина была привычная.

— Пусть мать фенозепам купит, — сказал водитель. — Недельку проспится, будет как огурчик. — Он, немолодой уже, небритый, худой — одни кости — видимо, сам был запойный. Устроился работать на машину, чтобы хоть как-то просохнуть. — Пусть лежит, не ест, не встаёт. Пить давай только воду. Будет просить пиво — не давай. Перетерпит. Если сердце крепкое — не помрёт.

Данил кивнул.

Так он и пролежал. А через неделю:

— Дань, жрать охота. Сделай, а.

Данил сварил пельмени. Отец вышел на кухню, съел, потом долго сидел в ванной — отмокал, брился. А вышел уже другим человеком. Только небольшие порезы на подбородке говорили о ещё слабых руках. И мутный взгляд не скоро прояснялся окончательно.

Именно сейчас, в конце октября, когда начинается немного подмерзать, Данил вспоминал всё это.

С конца октября он ждал отца. Когда был маленький:

— Мам, а папа сегодня приедет?

— Не знаю, пока не звонил.

Постарше:

— Когда будет?

— Кто ж его знает! Не докладывал!

И совсем недавно, в последний приезд:

— Мам, отец мне звонил. Сказал, заскочит. Я останусь дома, не пойду в школу?

— Ну, жди, оставайся.

В октябре у отца день рождения — ему было бы сорок пять лет.

Данил со злостью задвинул ящик стола.

В школьной раздевалке душно и грязно. Она решётками отделена от коридора, и у Данила всегда создавалось ощущение, будто находишься в тюрьме. Все толкаются, смеются, ругаются, выясняют отношения. Потом жизнь здесь затихнет на время уроков, чтобы после опять продолжиться.

Данил стоял с Олей, загорodившись развешанными чужими куртками, от которых неприятно пахло.

— Извини, что утром не получается пересечься. Отец возит теперь до школы. Ему пока делать нечего. Сказал, что через две недели уедет. Мать сама не рада, но не выгонишь же его.

— Он тебя достаёт?

— Ты же знаешь — он хочет всё контролировать.

— А я ему в этом мешаю.

— Ну при чём здесь ты?

— Потому что, если бы не со мной была, а с каким-нибудь богатым жлобом — его бы всё устроило.

— Перестань! Он не такой. Просто хочет показать, какой он хороший отец. Он же не жил с нами никогда — ушёл, когда мне три года было. Вот и навёрстывает упущенное.

— Ладно! В воскресенье удасться вырваться? — Данил обнял Олю и погладил её волосы — мягкие, длинные.

— Мы же договорились. — Оля покраснела и отвернулась.

Уже давно они договорились побыть вдвоём так, чтобы не торопиться и чтобы никто не мешал. Но всё никак не получалось. То Олина мама возьмёт отпуск и сидит дома, то её отец неожиданно приедет, то ещё что-то произойдёт. Данил понимал — было бы проще, если бы у него была свободная квартира, но Оля могла только по выходным, а по выходным у него была дома мама. Да и вообще — приводить девушку, которая привыкла к самому лучшему, в свою маленькую, затхлую квартирку... Оля ещё ни разу не была у него дома, и он с трудом её представлял на своём раскладном узком диване.

— Только где мы встретимся? У меня отец будет дома. У тебя?

— У меня же мама. Но я что-нибудь придумаю. Пспрашиваю у друзей. Может, у кого-нибудь родители свалят на дачу.

На самом деле Данил не знал, где найти свободную квартиру. В классе он никому не доверял, а больше спросить было не у кого. Решил завтра съездить к Диме в шиномонтаж и узнать у него — наверняка он мог бы помочь.

Данил с Олей стояли и молчали, обнявшись. Так можно постоять ещё минут пять, потом прозвенит первый звонок, и все разбегутся по классам. Он проводил Олю до её кабинета. Она поцеловала его и скрылась.

После уроков Данил поехал к Диме. Его шиномонтаж находился недалеко от Щёлковской, на окраине — около железнодорожных путей.

Похожее место было у них и на Марьиной Роше. Часто оттуда слышался лай собак и ругань людей. Все — и люди, и звери — выясняли отношения именно там. Шум поездов заглушал всё — и можно было устраивать драки и не бояться, что кто-то увидит или услышит. Отец рассказывал Даниле, как в 90-е годы здесь собирались компании и делили территорию района. Как отец Оли тогда силой забрал себе одну из «качалок», принадлежавших кому-то другому. Именно из этой «качалки» потом вырос весь бизнес Олиного отца — несколько фитнес-клубов. Данил, когда бывал там, с опаской смотрел на холм перед железнодорожной линией, где можно было зарыть всё, что угодно, и кого угодно.

Дима вышел весь в масле, в грязной тёмно-синей форме.

— Пойдём покурим, — предложил он.

Данил смотрел на железнодорожный ров — большая лохматая собака медленно переходила пути, озираясь по сторонам. Она, видимо, тоже чего-то боялась.

— И давно ты здесь? — спросил Данил.

— Год.

— А тебя устраивает вот так?

— Как — так? — не понял Дима.

— Ну вот так. Целый день работаешь. Не учишь-ся толком.

Дима отвернулся:

— Меня мать родила в семнадцать, а через три года отдала бабушке. Так что вариантов у меня не так чтобы много.

— Извини. Не знал.

— Ой, да ладно! Подумаешь! Я её уже давно не видел. Она потом снова замуж вышла, родила ещё одного ребёнка — не знаю, кого, пацана или девку. Я её видел с коляской. Хотел в коляску камней на-кидать, но передумал. Этот-то мелкий не виноват ни в чём.

— А она тебя что, не замечала?

— Нет, наверное. Я как-то проследил за ней, пятам шёл, дошёл до подъезда, но она не обернулась. Я подождал, а потом вышел её мужик новый. Я хотел уйти, но напоследок взял камень и кинул вслед этому мужику. Попал в спину — там такой верзила, легко было попасть. Он побежал за мной, но не догнал. Я свой район знаю лучше всех. Потом отец из тюрьмы вернулся, нормально жить стали. Семья типа. Я, бабушка и он. Но на него иногда находит — квасить начинает, работу бросает. А мне что делать? Бабушка сказала — устраивайся. А куда я здесь ещё устроюсь? Малолетку никто не берёт. Вот Тимур взял — спасибо ему!

Данил заметил, что Дима называл бабушку только бабушка. Не бабка.

— Ладно, хватить тут сопли пускать. Пошли! — велел он.

Докурили. Выбросили окурки. Пошли в каморку Димы. Данил осмотрелся вокруг — разбросанные шины, покрышки, мусор. Руки у Димы были масляные. Он казался здесь намного старше. Данил не мог поверить, что этот почти взрослый мужик в рабочем комбинезоне младше его.

Кроме него в шиномонтаже работал ещё один парень лет двадцати, нерусский, в таком же комбинезоне. Тоже грязный и весь в масле.

— Это Бахрам, — сказал Дима, — Боря, короче, по-нашему.

Данил протянул руку и поздоровался. Прошли в комнату. Там на дырявом диване сидели девчонки.

— Садись. Не обращай на них внимания. — Дима скинул с дивана какие-то коробки — освободил место.

Девчонки подвинулись. Данил плюхнулся как-то неуклюже, и девчонки засмеялись. Дима их не представлял. Было неловко сидеть с этими девчонками рядом — места мало, и они прижимались к нему

плотную. От них пало дешёвыми коктейлями и вишнёвыми электронными сигаретами.

Ещё в этой комнатухе стоял стол и небольшой холодильник «Зил». Видимо, очень старый, но, судя по тому, что иногда он неожиданно вздрагивал и начинал жужжать, — работал. На столе бутылки из-под пива, а пустые лежали под столом. На пластиковых тарелках была нарезана колбаса, скорее всего, девчонки принесли и накрыли «стол».

— Будешь? — Дима заметил взгляд Данила.

— Нет. Я вообще-то по делу.

Дима сделал знак девчонкам, чтобы те ушли. Они, всё так же смеясь, быстро выскочили из каморки.

— Я хотел узнать, у тебя нет какой-нибудь квартиры свободной на воскресенье?

— Зачем тебе?

— Мне надо с девушкой зависнуть.

— С нормальной?

— С нормальной.

— Тогда нет. Есть халупы всякие, но туда нормальную не поведёшь. Только сосок всяких. Ты сними на сутки. Мы с пацанами иногда берём за две тысячи.

— Но где же я их возьму? У матери не хочу брать, да у неё и нет лишних.

— Одолжи у Тимура. Потом отработаешь или отдашь. Только его сейчас нет. Он завтра будет.

— А он точно даст?

— Да точно! Ты, главное, отдай. А то он, знаешь, не прощает, в общем. У меня к тебе тоже дело.

Дима отодвинул диван — за ним в коробке лежало несколько запечатанных пачек с листовками. Он взял одну пачку и протянул Даниле.

— Надо расклеить по району. Сможешь за неделю?

— Постараюсь.

— Только фотку сделай. Мне для блога. Лицо своё можешь не фоткать. Чисто так — рука и листовка.

Девчонки, смеясь, заглянули в комнату.

— Ты что, друг Тимура? — спросила одна из них.

— Нет, — сказал Данил.

— Зря, он крутой.

Они опять отчего-то засмеялись и начинали уже раздражать.

— Подъезжай в субботу на Сретенку. К двенадцати часам. Покажу тебе место одно, — сказал Дима.

— Не знаю пока. Подумаю.

— Алёна будет, — добавил он зачем-то.

— Ладно, — махнул рукой Данил, попрощался и вышел.

Бахрам, или Боря, курил в мастерской.

— Много здесь работы? — спросил Данил.

— Я пятый год здесь. Сначала мало было, потом вот какую фирму сделали. Приходи — ещё больше сделаем.

— А откуда приехал? — спросил Данил, хотя его это не особо интересовало.

— Из Термеза.

— Это какая страна?

— Узбекистан. Город такой там. Хороший город.

— А русские есть там?

— Есть! Как — нет! Есть русские. Русский знаю.

Потому и уехал. Кто русский не знает — как тут уедешь? Все учат.

— А там нет шиномонтажа?

Данил почему-то разозлился. На него, на Диму, на Тимура этого, которого ни разу не видел, на смеющихся девчонок.

— Есть. — Бахрам не обиделся. — Но платят мало. Сто долларов в месяц. Здесь — больше. У нас там как живут — есть свой дом, баран, его режут — и живут. Нет своего дома — нельзя жить. Вот и уезжаем.

— А у тебя нет дома?

— Нет. Накоплю денег — тогда уеду обратно, куплю. Бараны будут, жена, уже не пропадёшь. Вот так у нас.

— А жену здесь найдёшь?

— Нет. Как — здесь? Жену отец найдёт. У нас не гуляют. Отец нашёл — ты женился.

— А если не понравится?

— Ну как — не понравится. Отцу понравится — и мне понравится.

Данил смотрел на него. Работает. Дом купит. Жену найдёт.

Из комнаты донеслись голоса и смех. Даниле захотелось вдруг вернуться туда, посидеть с Димой, с девчонками. Забыть обо всём — о квартире, о школе, об Оле. Быть таким же, как они. Пойти в строительный колледж, устроиться в шиномонтаж и жить обычной жизнью. Но потом Данил вспомнил тех людей, которые были на митинге. И почему-то при мысли об этих людях, об этом митинге сердце Данила опять сжалось. Там они боролись за другую жизнь, и ему казалось, что он был среди них на своём месте.

Данил зачем-то перешёл через линию, долго блуждал по другой части района и только к вечеру вернулся домой, опять соврав маме, что был в институте.

#### 4

В субботу чуть было не проспал. Встал поздно, зачем-то накричал на мать, потому что она не догадалась его разбудить, толком не поел и, злой, поехал на Сретенский бульвар.

По дороге даже не слушал музыку и не курил — не было настроения. Только в метро машинально листал новости в «Вконтакте», и перед ним мелькали уже знакомые картинки из паблика. Обыски, аресты, акции... Кто-то ворвался с файером в зал суда, каких-то активистов задержали, и они просят помощи. Люди с заклеенными ртами и шариками шли на молчаливое шествие. Лозунги, которые Данил уже знал наизусть — «Президент просрочен, протест бессрочен», «Интернет — последняя наша свобода», «Долой мусорную мафию».

На станции в центре зала уже ждали Дима и Алёна. Она на этот раз была весёлая, улыбалась, была в

длинном пышном платье и в ярко-зелёной толстовке, поэтому и волосы её казались ещё ярче. Только вместо каблучков тяжёлые ботинки.

Данил смотрел на неё и не мог понять — нравится она ему или нет. Ему казалось, он любил Олю. Он ждал её утром, провожал после школы, писал каждый вечер сообщения, не мог заснуть без смайлика от неё, скучал и злился, когда приезжал её отец. Конечно, он её любил. Но ничего большего у них ещё не было. У Данилы ни с кем ничего большего ещё не было, и ему было страшно представлять себя и Олю вдвоём в чьей-нибудь квартире. А Алёна была совсем другой. Почему-то её он мог представить даже в своей неубранной комнате, хотя видел второй раз в своей жизни.

Они поднялись по эскалатору, прошли по длинному переходу, где в палатках продавали всякую мелочь — сумки, часы, телефоны, иконы, одежду, ремни. Переступили через нескольких бомжей, растянувшихся посреди перехода, и вышли на улицу.

Данил невольно смотрел на Алёну и восхищался. Такая хрупкая, тоненькая и решительная. Сам Данил постоянно во всём сомневался, а Алёна, ему казалось, ни секунды не колеблется.

Они шли мимо кафе, магазинов, ресторанов, домов с дорогими квартирами, и Данил себя чувствовал неуютно в этой части города, которой не принадлежал. Зашли в арку и прошли внутрь двора. Там, в подвале обычного жилого дома, находилось еле приметное антикафе. Снаружи висела только небольшая вывеска: «РесПаблик».

— А зомбировать не будут? Мне хватает зомбищика дома, — спросила Алёна.

Данил впервые услышал её голос. Тихий, как он и думал, но твёрдый и решительный. Да, такие девушки и под страхом смерти не отступают от своих идей. Он именно так себе представлял женщин на войне, погибших в страшных муках, но несломленных. Как Зоя Космодемьянская, о которой им рассказывали в школьном музее. Вот так она и выглядела бы сейчас — в платье, в тяжёлых ботинках, с красными волосами и тихим голосом.

— Не будут, — сказал Дима. — У меня вообще свой блог. Данил со мной. — Дима кивнул в сторону Данила. Тот улыбнулся.

Алёна внимательно посмотрела на них и ничего больше не сказала.

Конечно, Данил не так представлял себе штаб протестного движения. Он думал, что тот должен быть скрыт от посторонних глаз, находиться где-нибудь в подвале, закрытый на несколько внушительных замков, где-то на задворках Москвы, в спальном районе, чтобы никто о нём не догадался. Но этот штаб стоял чуть ли в центре города, на первом этаже обычного дома.

Внутри было несколько комнат, что-то типа прихожей и даже небольшая кухня, где можно было налить себе чай или кофе. Они прошли в одну из комнат и сели у двери. Было много людей, в основном

молодёжь: школьники и студенты. В центре комнаты было оборудовано некое подобие сцены, и все сидели вокруг неё. Данил и Алёна сели рядом и невольно касались друг друга. Дима их представил.

— Давно в протесте? — спросил один из парней в чёрной футболке с красной буквой «А» посередине.

— Не очень, — сказал Данил, — пару месяцев назад увлёкся.

— А что сподвигло?

— Сложно сказать, — Данил пожал плечами, — всё вместе. Накипело как-то. Ещё я Болотную помню, правда смутно, но вроде там круто было.

— Учишься в институте?

— В школе ещё. В одиннадцатом.

— Меня Сергей зовут, — протянул руку парень в футболке. — Я здесь типа главный. А вообще мы ничем противозаконным не занимаемся. Общаемся, поём песни, стихи читаем. Пишешь что-нибудь?

— Алёна стихи пишет! — ответил Дима вместо него. — Она сегодня почитает! Есть место?

— Не вопрос, — пожал плечами Сергей. — Идите тогда к сцене.

На сцену это не очень было похоже — просто небольшое возвышение. На него поднялась девушка с гитарой и начала петь. Данил не знал эту песню, но многие подпевали. И вокруг опять звучали привычные уже слова — «свобода», «перемены», «власть». Потом стали читать стихи. И в них звучали те же слова. Алёна читала свои и спела пару песен. Одну из них Данил знал и повторял вслед за Алёной:

Ярость грызет нутро,  
Страх превращает нас в рабов.  
Снова война в метро —  
Око за око, кровь за кровь.  
Разобщены, глухонемы  
Дети одной большой страны.  
Кто виноват, если не мы?

Он смотрел на неё — как она перебирает аккорды, и любовался.

Через пару часов люди стали расходиться. Дима остался с Сергеем, и обратно к метро Данил пошёл с Алёной вдвоём. Втайне он был даже рад этому.

— Зайдём в кафе? У меня есть деньги, — предложила она.

Ему сначала стало стыдно, что у него денег не было и что девушка его приглашает, но он согласился. Почему-то с Алёной он не чувствовал никаких рамок.

Они зашли в «Старбакс», взяли одно кофе на двоих и пончики. Сели за небольшой столик подальше от стойки.

— Как ты оказалась в этой тусовке? — спросил Данил.

— У меня друг один был на Болотной, и ему дали срок. Недавно вышел. Для него теперь ничего другого, кроме протестов, нет. Он говорит, когда выходишь из тюрьмы, ты другой человек, и ничем больше



заниматься уже не будешь. Я сначала была в движении из-за него. Организовывала пикеты в поддержку политосуждённых. Мне нравится в протесте. Всё просто и понятно. Есть враги, а есть друзья. Враги — это власть и менты. Друзья — те, кто с тобой на пикете. И всё.

— А против чего ты протестуешь?

— Я хочу свободы. Чтобы можно было говорить то, что думаешь. Вот я учусь на журфаке уже целый год. И что нам говорят? Об этом писать нельзя, об этом говорить нельзя. И что, я теперь буду рассказывать всем, как здорово мы все живём? Я хочу говорить правду и не бояться. Хочу писать о том, что у нас происходит — про школы, больницы, про политзеков, про зарплаты, про мусор, который хоронят под новостройками, про то, как реальные люди живут. Ты знал, например, что в Кировской области люди кожуру от картошки едят? Картошку детям дают, а сами кожуру варят. А нас на курсе учат, что мы должны писать о том, какой урожай собрали в Краснодарском крае. А не о том, за сколько и кому ему продали. У меня бывший парень из Саратова. Так он говорил, что там в деревнях зерно продают за копейки, потому что приезжает один так называемый предприниматель и скупает всё оптом, а потом их же хлеб им продаёт в десять раз дороже. А людям деваться некуда. Они либо так продадут, либо у них всё сгниёт там. И так везде. Вообще, я однажды сделаю классный политический канал, чтобы все знали, что в стране происходит. А ты о чём мечтаешь?

Данил задумался. Все о чём-то мечтали. Дима — вести свой блог, Оля — пойти в институт и жить отдельно от родителей, Алёна — создать канал. А он о чём мечтал?

— Не знаю, — признался Данил.

— А почему в протест пришёл? Из-за Болотной?

— Может быть. Я просто чувствую, что так жить нельзя. Вот отец, например, вкалывал, чтобы заработать хоть что-то. А всё равно ничего не заработал — ни квартиры, ни машины нет. Ведь это неправильно?

Алёна не отвечала. Она пила кофе из общего стаканчика и отламывала руками пончик. Волосы, уложенные утром, растрепались и теперь казались длиннее и мягче. Они касались плеча Данилы, который тоже склонился над столиком.

По пути к метро он случайно взял Алёну за руку, и она не стала отнимать её. Так и шли рядом. Пока ехали на эскалаторе, Данил включал ей музыку в своём телефоне. Один наушник он взял себе, другой отдал ей, и они стояли очень близко друг к другу. Данил подпевал, нащёптывая на ухо Алёне:

— Здесь типа демократия, на самом деле — царство. Я так люблю свою страну и ненавижу государство!

Потом Алёна достала свой телефон и свои наушники. Дала один Даниле. Они уже сели рядом в вагон метро. Но из наушников полилась не музыка, а самые настоящие стихи.

Ждём с небес перемен — видим петли взамен.

Он придёт, принесёт. Он утешит, спасёт,

Он поймёт, Он простит, ото всех защитит,

По заслугам воздаст да за трёшку продаст.

— Это твой? — спросил Данил, не вынимая наушник.

— Не, ты что! Я так не умею. Это Янка Дягилева! Классику надо знать!

Они сидели рядом, Данил проехал свою станцию, а Алёна — свою. Они вышли на конечной и ещё долго сидели на лавочке в метро. Данил включал «Люмен» и «ДДТ», Алёна — «Янку», «Гражданскую оборону», «Louna».

Потом Данил проводил Алёну до «Белорусской», откуда она поехала к себе в Одинцово. Он ещё долго стоял и смотрел, как она поднимается по длинному эскалатору. Ему почему-то казалось, что он больше её не увидит, и ему хотелось окликнуть её, чтобы она обернулась. Но Алёна надела капюшон от толстовки и не смотрела вниз.

С Олей Данил встречался давно, с начала лета. За это время он привык к ней — привык ходить вместе в школу, пересекаться на переменах около музея или на подоконнике, провожать её потом домой. Ему нравилось, что можно было идти с ней рядом, ждать светофор на двух дорогах, стоять у подъезда, а потом также идти обратно, писать по дороге смс. А потом уже дома — «Я дошёл».

«Чего так долго?»

«Не, я быстро. Не сразу написал просто».

«Уже скучаю».

«И я».

И смайлы-смайлы. Оля любила присылать смайлы. Улыбающиеся, смеющиеся, иногда со слёзками, когда грустила.

«Я сегодня не приду. Заболела что-то» — и грустная улыбка.

«А когда придёшь?»

«Не знаю».

«Зайти к тебе?»

«Родители дома».

Когда родители были дома, особенно отец, Данил не заходил. У Оли была хорошая семья. Мама — врач, она работала в поликлинике в центре Москвы. Папа — успешный бизнесмен. У них была большая красивая квартира с модным ремонтом — кухней-столовой, барной стойкой, двумя ванными и огромной лоджией. Данил никогда раньше не видел таких квартир. Сам он жил в другом районе — в «старом» районе Марьиной Рощи, состоящем из панельных пятиэтажек, одинаковых и холодных, в которых слышно всё, что происходит у соседей, и все друг друга знают. Вокруг школы было много таких домов — и практически все были оттуда. Все, кроме Оли.

Может быть, поэтому Данил чувствовал себя неловко, когда приходил к ней. Он никогда не снимал

куртку, только ботинки. Проходил на большую кухню, размером с половину его квартиры, пил чай — и старался как можно быстрее вытащить Олю на улицу.

Один раз ему пришлось ужинать с её родителями. Оля хотела познакомить его с ними, чтобы можно было спокойно встречаться. Данил очень переживал, оделся как можно приличнее — джинсы длинные, классические, не узкие, без подворотов. Вместо футболки рубашку, даже ботинки нашёл вместо своих белых кроссовок. Он старался как можно больше молчать, потому что очень боялся, что будут говорить про поступление в институт или про семью. Но об этом не говорили.

Потом уже, через несколько дней Данил спросил у Оли:

— Ну что твои обо мне думают?

— Ну так... — Оля ответила не сразу. — Мама нормально. А отец... Ну, ему вообще никто не нравится.

После этого разговора Данил решил, что больше к Оле при родителях не зайдёт.

В час дня Данил встал у подъезда по привычке под козырёк, чтобы его не заметили из окна дома.

«Выходи!» — написал он сообщение.

Оля вышла очень красивая — ярко накрашенная, в коротком бежевом платье, расстёгнутом плащике и сапогах на высоком каблуке. Данил никогда её ещё не видел такой.

— Ты где вчера был? — сразу спросила она. — На сообщения не отвечал.

— Да... долго рассказывать.

— Ты мне совсем ничего не говоришь. — Оля пожалала плечами.

— Сколько у тебя времени? — спросил Данил, чтобы перевести тему.

— Да есть время — не волнуйся. Я отпросилась на целый день. — Оля улыбнулась.

Идти было недалеко. Когда отошли от дома, Данил взял Олю за руку.

— Вообще, нам не обязательно скрывать, что мы встречаемся, — сказала она, — мама нормально к тебе относится.

— Это пока не подвернулся богатенький козёл какой-нибудь, — огрызнулся Данил.

Оля поджала губы, обиделась и помрачнела. Стало жалко её — она сегодня специально для него надела новое тонкое платье и уже наверняка замёрзла. Он обнял её за плечи.

— Пришли уже, — сказал Данил, указывая на высокий кирпичный дом. — Нам на девятый.

— А откуда эта квартира?

— Друг одолжил. Никто не придёт до завтра. Можно не торопиться.

Данил тут же сам покраснел от своих слов. Он не строил из себя какого-то особо опытного — и никогда ничего так не боялся, как остаться один на один с девушкой. И не просто с девушкой, а с Олей. Но она, казалось, не обратила внимания на его слова. В лифте она прижалась к нему, он её обнял и поцеловал.

Квартира оказалась неплохая — большая однушка с балконом, хорошей кухней. Данил уже видел эту квартиру, когда с утра её оплачивал. Деньги занял у Тимура, как посоветовал Дима.

— Отдашь две пятьсот, — сказал Тимур, отсчитывая две тысячи.

— Почему две пятьсот? — не понял Данил.

— Проценты. Или отработаешь пять смен. Как хочешь.

Данил взял деньги. Ему было противно смотреть на толстое лицо Тимура, на его дорогую кожаную куртку и начищенные ботинки, но он заискивающе смотрел.

— Если решишь исчезнуть, достану из-под земли, — усмехнулся Тимур, — так что давай без подстав. И мой тебе совет — на девок больше не занимай. Зарабатывай больше — они сами к тебе ползут.

— Разберусь, — отрезал Данил.

Потом заехал посмотреть и оплатить квартиру.

— Паспорт есть? — спрашивала молодая ещё женщина. Данил почему-то представлял её старухой-процентщицей, как из романа, который они в том году обсуждали на литературе, но она такой не оказалась.

— Зачем паспорт? — спросил он.

— У меня такие порядки. Мало ли кто тут снимает.

Данил дал паспорт.

— Нет восемнадцати?

— Будет скоро.

Она стала что-то писать у себя в бумагах.

— Подпиши здесь.

Данил подписал.

— У нас выезд в двенадцать часов следующего дня.

— Хорошо.

— С кем будешь?

— С другом.

Данил положил ей на стол деньги, и она сразу по добрела. Затараторила:

— В ванной есть полотенца, бельё свежее, диван уже разложен, на кухне всё есть. Всё работает.

Данил не стал осматривать — поверил на слово. Взял договор, сложил в рюкзак и выбросил по дороге, чтобы Оля не увидела.

Теперь они стояли в этой самой квартире. Сейчас она ему показалась меньше и хуже.

— Странно, — сказала Оля, — такое ощущение, что здесь никто не живёт.

— Друг редко бывает.

— А чего не сдают?

— Не знаю.

Данил включил электрический чайник, достал торт, который купил заранее. Он купил ещё и вино, но не знал, будет ли Оля и не обидится ли. Она тихо села на кухню. Данил налил чай, разрезал торт и тоже сел. Оба молчали. Почему-то чувствовали себя как-то неловко, точно только познакомились.

— А что-нибудь другое есть? — Оля кивнула на чай.

Данил достал вино и налил им в стаканы, потому что не нашёл бокалов. Оля отпила так, будто никогда не пробовала, и поморщилась:

— Кислое.

Данил смотрел на неё. Красивая, высокая, тоненькая. Платье совсем короткое — с рюшечками какими-то. Оля совсем не вписывалась в эту квартиру и в его жизнь.

Чтобы заполнить неловкую паузу, прошли в комнату. Сразу бросился в глаза большой разобранный диван. Даниле стало не по себе. Неужели он будет здесь сейчас с ней, на этом диване — первый раз в своей и в её жизни? Оля села, Данил опустился рядом и обнял её. Она сидела не шелохнувшись.

— Ты чего? — спросил он.

— Не знаю. Как-то странно. Не у меня, не у тебя. А где-то...

— Да ладно! Какая разница? — Данил поцеловал Олю.

Они целовались долго. Он не хотел отпускать её — боялся, что она сейчас встанет и уйдёт. Он крепко прижимал её к себе. Он не знал, что нужно говорить в таких случаях, поэтому молчал. А Оля молчала по какой-то другой причине — только девчонки знают, по какой.

— А потом как мы будем? — спросила вдруг Оля и отстранилась от него. — Нельзя же всё время просить друзей.

Она обвела глазами комнату. Обои кое-где отошли, на потолке были видны подтёки, на полу лежал липкий выцветший линолеум.

— Я что-нибудь придумаю, — ответил Данил сквозь туман в голове.

Всё плыло перед глазами, он уже начал забывать обо всём, перестал думать, чувствуя только её запах, но Оля вдруг прервала его:

— Подожди! Я не хочу здесь.

Данил услышал её слова не сразу. Они как-то постепенно вошли в его сознание.

— Почему? Ты же хотела.

— Не знаю. — Оля одёрнула платье и отсела. — Здесь всё чужое. Не твоё и не моё.

Данил резко встал:

— Ты серьёзно?

— Да. Давай просто посидим.

Но кровь уже стучала в голове, и Данил злился на всё вокруг. Он развернулся, ушёл и хлопнул дверью.

— Да иди ты! Делай, что хочешь! — крикнул он напоследок.

Оля побежала за ним в подъезд. Он остановился у подоконника, развернулся и крикнул резко и жёстко:

— Я не держу! Не нравится — уходи!

Она смотрела на него, не узнавая. Испуганно попятилась назад и заплакала.

— Если хочешь знать, я снял эту квартиру на сутки! Не нравится так?

Оля перестала плакать.

— Правда? Но мы же могли побыть и у тебя!

— Не могли. Ты можешь только в выходные. А в выходные у меня мама за стенкой. Как ты себе это представляешь?

— Но ведь все как-то живут.

— Не знаю, как все. Ты так не будешь.

— Откуда ты знаешь? Ты думаешь, я с людьми из-за квартир встречаюсь?

Оля хотела уйти, но он обнял её и не пустил.

— Ладно. Пойдём посидим, — сказал он уже спокойно, — ещё осталось вино.

Они ещё долго стояли в подъезде, хотя квартира была свободной.

Всю следующую неделю Данил ходил в школу урывками. Опаздывал, сбежал с уроков раньше, отсиживался в столовой или в закутке музея, переписывался с Димой и с Алёной. С Алёной больше. Слушал музыку, которую она ему скидывала, читал её стихи. С Олей виделся только в школе. Отец провожал её каждый день и забирал.

В конце недели Данил тайком от мамы распаковал пачку листовок, которые дал ему Дима. На них крупно был нарисован президент, почти такой же, как на портрете в школе, только чёрно-белый. Лицо президента было перечёркнуто жирным крестом, а под портретом была надпись — «Разыскивается. Он украл у меня будущее»

Данил смотрел на эти листовки и не мог поверить, что он будет их расклеивать. Это уже не просто раздать безобидные бумажки на улице, не просто сходить вместе с тысячей других людей на санкционированный митинг. Это уже — его личная акция, на которую он пойдёт добровольно, один, с плакатами, за которые можно получить реальный срок.

Данил отсчитал двадцать штук, а остальные спрятал всё в тот же потайной ящик стола. Он решил дожидаться вечера — темнело уже быстро. В семь часов мамы ещё не было. Он не стал её ждать, взял рюкзак и, точно вор, сбегающий из чужого дома, бесшумно прокрался в подъезд.

На улице было как ночью, но Даниле казалось — недостаточно темно. Свет фонарей, который, чудилось, преследовал его, шёл по пятам. Фонари светили слишком ярко, их было слишком много, машины ездили слишком шумно и часто. Данил шёл по Сушчёвскому валу, и ему казалось, что все люди, встречающиеся на пути, знают, куда он идёт и зачем. Вот-вот кто-то попросит его раскрыть рюкзак, вот-вот какой-нибудь полицейский остановит его для проверки документов.

Он сошёл с оживлённой улицы во дворы, но и там легче не стало. Из каждого окна, из каждого дома на него смотрели, у каждого подъезда сидели люди, из каждой припаркованной машины доносились голоса, и все говорили только о нём. Но время шло, и надо было решаться.

Данил включил музыку на телефоне, чтобы всё залушала, чтобы ничего не слышать, не бояться.

Так собраться с силами стало проще. Он остановился у одного из домов, подошёл к самому тёмному неосвещённому подъезду, раскрыл рюкзак. Ещё раз осмотрелся, чтобы никто его не увидел, надел капюшон, достал листовку, клей, намазал густо обратную сторону плаката и приклеил прямо на дверь подъезда. Потом быстро, пока никто не заметил, застегнул рюкзак и почти побежал дальше.

В груди колотилось. Данил остановился, приложил руку — под ладонью, точно птица крыльями, быстро-быстро билось сердце.

Так Данил обошёл несколько домов, то и дело поправляя капюшон, озираясь, останавливаясь, чтобы успокоиться. Когда в рюкзаке стало пусто, он вышел обратно на Сушёвский вал и уже спокойно, без спешки, стараясь не привлекать к себе внимания, пошёл домой.

Мама ещё не было. Последнее время она стала часто задерживаться на работе. В последние два года отец тоже подолгу оставался на объекте. Однажды он приехал домой только январе, а уехал в начале марта.

— Зимой же нет работы, — допытывался Данил. — Кто зимой строит?

Но отец никогда не объяснял свои поступки. Он считал, что раз уходил, значит, так было нужно. Мама тоже молчала, точно её всё устраивало. Только после смерти отца Данил узнал, что они хотели развестись, но не успели.

Данил уже успел убрать рюкзак, когда пришла мама.

— А ты чего так поздно? — Он стоял в дверях ванной, пока мама мыла руки.

— В магазин зашла. А что?

— Ничего. Странно просто.

Мама прошла на кухню. Данил посмотрел на настенный календарь, который висел около холодильника, и вдруг догадался:

— Ты была на кладбище.

— Ну, кто-то же должен ездить, — ответила мама, доставая из холодильника контейнеры с ужином. — Там тоже убираться надо. Скоро снег выпадет.

— Чего не сказала? Я бы мог поехать. Помочь.

— У тебя свои дела. Тебе в институт надо ездить. Ты лучше учишься.

Мама поставила один из контейнеров в микроволновку, и та тихо зажужжала. Данил смотрел, как мама перекладывает тёплую еду в тарелку, отрезает чёрный хлеб, ничего больше не ответил и ушёл к себе в комнату. Они никогда не ужинали вместе.

В начале следующей недели Данила вызвали к директору.

К директору вызывали только, если происходило что-то страшное. Данил ещё ни разу не был в его кабинете. Он стоял неуверенно в дверях и боялся пошевелиться.

— Садись, — тот кивнул на стул напротив себя.

Но Данил остался стоять.

— Догадываешься, зачем я тебя пригласил?

— Наверное, из-за уроков. — Данил пожал плечами.

— Ты расклеивал листовки в нашем районе?

Данил вздрогнул. Этого он не ожидал. Он ходил вечером, в капюшоне, в тёмной куртке. Даже если его видели, не узнали бы. Поэтому Данил решить врать:

— Нет.

— Тебя видели.

— Они ошиблись.

Директор выложил на стол чёрно-белые фотографии.

— Покажи свой рюкзак и кроссовки, — попросил директор.

Данил положил на стол рюкзак — точно такой же, как на фото. И белые кроссовки с толстой подошвой были предательски похожи.

— Это не я, — тихо и неуверенно сказал Данил.

— Хватит! — Директор хлопнул ладонью по этим фотографиям. — Это распечатки с камер, которые натканы по всему району. Если будет команда — там быстро определят, из какого дома ты вышел и куда зашёл после. Скажи спасибо, что они попали ко мне, а не куда-то ещё! Был бы ты сейчас в совершенно другом месте!

Данил промолчал. Ему даже стало обидно. Он с таким трудом пытался скрыть своё лицо, избегал встречных прохожих, но забыл про банальные камеры.

— С какой компанией ты связался? — Директор подошёл к нему.

— Я был один, — ответил Данил и отодвинулся от директора.

— Да знаю я все ваши игры. Ты не понимаешь — они же сами тебя кинут, как только запахнет жареным. Они же используют таких, как ты.

— Я был один, — повторил Данил.

Директор прошёлся по кабинету.

— Ты понимаешь, что за это есть статья. Что ты теперь под надзором полиции. Что твою мать могут лишить родительских прав, а тебя отправить в интернат.

Данил невольно рассматривал бумаги на столе — их было море. Приказы, заявления. Всё в таком беспорядке, что удивительно — как он вообще работал.

— Что не будет тебе никакого института, не будет никакой работы, — продолжал директор. — Что с таким клеймом ты теперь будешь, в лучшем случае, интернет-заказы развозить. Это если повезёт. Тебе это надо?

Данил слегка покачал головой.

— А что ты тогда потащился туда с этими листовками? И главное, в своём же районе! Это же надо догадаться! Ты понимаешь, что ты всех подставил?

Директор был выше и нависал над ним, словно прокурор, который обвинял его в самых страшных и тяжких преступлениях.

— В общем, так. Фотографии будут лежать у меня в столе. Если ещё раз ты будешь замечен за какой-нибудь расклейкой, если вдруг вздумаешь поехать на

какой-нибудь митинг, они тут же отправятся, куда следует. И разговаривать с тобой будут уже не так мягко. Ты меня услышал?

— Маме не звоните.

— Я подумаю. Иди.

Он вышел, мысленно ненавидя и школу, и директора, и эти листовки.

5

Маме всё-таки позвонили. Она пришла раньше обычного, и Данил сразу понял — что-то не так. Такое же ощущение было, когда умер дед — мамин отец. Даниле было тогда десять лет. Мама пришла с работы рано, села на кухне и сказала только одно:

— Дедушка умер.

— В смысле? — спросил Данил.

На его памяти в их семье ещё никто не умирал. Не мог умереть и дед — прошедший войну, доживший до девяноста лет. Это казалось неправильным.

Данил держался, чтобы в гробу не потрясти деда за плечи и не закричать, как кричал ещё ребёнком, когда с мамой приезжал к нему на дачу, где тот жил, — «дед, вставай, вставай!»

Но дед лежал — жёлтый и застывший. Такая же застывшая была тогда мама — она сидела около гроба и молчала.

Сейчас мама тоже сидела на кухне и молчала. И даже не включала телевизор.

— Мам, ты чего? — Данил растерялся и даже не снял куртку, прошёл на кухню так.

На столе Данил заметил и листовки, и плакаты, которые прятал в ящике стола.

— Звонили из школы, — сказала она.

Она сидела в темноте. Данил только сейчас заметил, что мама даже не переоделась после работы — так и сидит в юбке и блузке. В руках мяла кухонное полотенце, которым вытирала глаза. Мама всегда плакала тихо. Сидит, голову чуть наклонит, в руках платок. А если присмотреться — слёзы. Лицо неподвижно, замерло, никаких эмоций — только слёзы. Словно не от обиды или боли, а от чего-то другого. Бывает, человек плачет — и что-то сразу меняется. Мама плакала — ничего не менялось и не могло поменяться. Это были какие-то бессильные слёзы

Данил всегда боялся этого. Когда мама плакала, становилось жутко. Он не знал, что делать. Он положил руку на плечо мамы — вроде как обнял. Сел на диван рядом. На маленькой кухне места для двоих почти не было. Посередине — слишком большой деревянный стол с толстыми ножками. У стены — диванчик, на котором можно спать, потому что он раскладывается. Двери на кухню нет — отец её снял, чтобы было больше места. Половину дверного прохода занимает холодильник.

От мамы почему-то пахло луком. Данил заметил рядом на диване мамин фартук — клеёнчатый, потёртый, весь в пятнах, которые уже не отстирать.

— Ты связался с кем-то? — спросила мама.

— Ни с кем я не связался! — раздражённо ответил Данил, которому вдруг стало тесно в этой квартире и захотелось уйти.

— А это откуда? — Мама выронила плакаты, и они рассыпались по полу. Перечёркнутый президент смотрел прямо на Данила, и тот невольно отвернулся.

— Друг дал.

— Какой друг?

— Ты не знаешь.

— И что ты с ними делаешь?

— Ничего. Храню.

Мама была невысокая, тонкая, белые длинные волосы волнами падали на плечи. Она была очень красивая раньше. И сейчас тоже красивая, несмотря на старую кофту и немодную уже юбку.

— Куда ты едешь всё время? Где бываешь? С кем? — спрашивала мама.

— В институт езжу.

— Я звонила в институт. Нет у них такой акции. И курсы все платные.

Данил молчал. Он не мог представить, что мама догадается позвонить туда.

— Значит, нет никакого института. И курсов нет. Только это. — Она посмотрела на листовки.

— А что в этом плохого? — Данил махнул рукой: — А, ты не поймёшь!

— Я никогда у тебя ничего не понимаю! Никогда мне не рассказываешь. Как отец. Уехал — и всё. Полгода нет. А где, с кем... Он, знаешь, что мне говорил? «Если помру, тебе скажут». И ты так? Мне скажут?

— Мам, ну не надо. Никто не умрёт. Всё будет нормально. Ну, подумаешь, листовки расклеил.

— Но зачем?

Данил сжал руки в кулаки и сказал, отчеканивая то, что пытался сформулировать уже давно:

— Я не хочу так жить. Вкалывать за копейки, как ты и отец. Жить в квартире, где не развернуться. Мне даже Олю привести некуда! Нельзя так всю жизнь. Ты посмотри вокруг — другие имеют миллиарды и самолёты. Мне отец рассказывал, как он строил дома на участке в несколько сот гектаров с собственным футбольным полем. Это разве справедливо, что у них всё это есть? За какие заслуги?

Данил ушёл в комнату, но мама пошла за ним.

— Нам просто не повезло.

Данил посмотрел на маму. Одна. Всю жизнь одна. Всю жизнь на работе. С отцом особо не разжиться было. Не ездили никуда, не ходили. Жила только для семьи, для него. Теперь весь остаток жизни работать — и опять для него. Чтобы он жил, учился, гулял.

— Обещай, что больше не пойдёшь туда, — сказала мама. — Мы найдём денег на институт. Накопим.

Из открытого секретного ящика виднелась фотография отца. Данил достал её. Отец — ещё молодой. Ещё до Данилы. И даже до мамы.

Он вспомнил, что у отца были такие сильные руки, сильнее, чем у любого качка из фитнес-клуба.

В детстве он мог висеть на них — и мышцы всё равно не сгибались.

Мама стояла в дверях его комнаты, всё ещё держа в руках мягкое кухонное полотенце.

Алёна позвонила сама поздно вечером. Не написала, а именно позвонила. Данил от неожиданности даже не сразу узнал её.

— Можем встретиться? Давай у «Паблика», только внутрь не заходи.

— Хорошо. Через полчаса буду.

Он быстро собрался, схватил сумку и побежал.

— Можно я у тебя переночую?

Данил ошарашенно смотрел на Алёну.

«Почему у меня?» — первое, что хотел спросить он. Но сглотнул и спросил другое:

— Что случилось?

— Долго объяснять. Суть в том, что меня засняли, когда я клеила листовки. И, кажется, фото попали в сеть. Мне уже обещали помочь, но надо переждать где-нибудь пару дней. Понимаешь, перед митингом лучше не светиться. Закрывают всех подряд на всякий случай.

— Понял. Но я с мамой живу.

— Она будет против?

— Нет. Просто у нас только две комнаты... В общем, если хочешь, я к другу пойду ночевать.

— Да ладно тебе, — улыбнулась Алёна.

Дома Данил представил её, но мама ничего не сказала, просто молча выдала полотенце и погрела ужин.

— Мам, я тебя потом объясню, — шепнул Данил. Но та махнула рукой.

— Она на меня злится, — пояснил он Алёне.

— У меня с моими тоже не очень. Но они делают вид, что ничего не происходит, и надеются, что я выйду замуж и успокоюсь. Дашь свой комп? — Алёна села за стол Данила и открыла свою страничку в «ВКонтакте».

Опять замелькали фото с акций, люди с плакатами, листовки, флаги. Данил уже так привык ко всему этому, что не представлял, как по-другому можно провести день.

Он перестелил диван, аккуратно разгладил простыню и вдел в наволочку вторую подушку.

Данил смотрел на Алёну и на мгновение представил на её месте Олю. Как бы она сидела здесь, смотрела в его компьютер, ела мамин ужин, а потом бы ложилась спать на разобранный старый диван.

Алёна доела, молча взяла тарелку и понесла её на кухню. Данил услышал шум воды.

— Давайте я остальное тоже помою, — сказала она маме.

Данил почему-то прислушивался к их тихому разговору. Ему стало интересно, о чём они говорили, но он ничего не услышал.

Алёна пришла, выключила компьютер и, не раздеваясь, легла рядом. Легла ему на плечо, и Данил обнял её. Одной рукой укрыл одеялом и себя, и Алёну.

— Ты никогда не думал быть, как все? — вдруг спросила она.

— А как это? — ответил Данил не сразу.

— Иногда смотрю на своих сокурсников и думаю — стану, как они. Буду работать в газете, возьму ипотеку, буду получать тысяч пятьдесят. Буду копить на машину, потом на квартиру, потом ещё на что-нибудь, чтобы хоть что-то детям осталось. И так всю жизнь. А кто-то в этот момент будет проигрывать в казино несколько миллионов за вечер.

— Я бы так не хотел жить.

— А как хотел?

Данил повернулся и вдруг поцеловал Алёну. Она обняла его, и всё вокруг померкло: и его тесная квартира, и шум воды за стеной, и чьи-то миллионы — всё стало вмиг неважным. Данил прижимал к себе Алёну и не думал больше ни о чём.

Уже поздно ночью они тихо смеялись, ели холодные макароны прямо из кастрюли и слушали музыку. Потом так и уснули — с наушниками, оставив на полу кастрюлю и разбросанную одежду.

Утром Алёна уехала в институт. Данил проводил её до метро и опять опоздал в школу. Она зачем-то отдала ему свои наушники, поцеловала и исчезла.

Когда он шёл к третьему уроку, его догнала Оля.

— Ты совсем не появляешься, — сказал она.

— Да дела были. А ты тоже к третьему идёшь?

— Пойдём туда. — Оля кивнула на Белый дом, мимо которого они шли. — Не хочу в школу.

— А отец?

— Он уехал. Я же говорила — надо было просто переждать.

Данил закурил, смотрел на выбитые окна и сложенные двери. Сейчас ему захотелось всё здесь переломать, выломать старые рамы, снести этот дом, проехать по нему катком и построить всё заново — дом, улицу, район, город. Он поднял валявшуюся под рукой палку и зачем-то бросил её в сторону дома. Она не долетела и упала около покосившейся двери.

— Что ты делаешь? — крикнула Оля.

— Мне надоело всё это! — крикнул в ответ Данил. — Я не хочу больше ждать, пока уедет твой отец. Ждать, пока подвернётся какая-нибудь подходящая квартира. И бояться, что кто-нибудь с большими деньгами понравится твоему отцу. Я живу вот так. Хочешь — живи, как я. Нет — значит, убирайся к чёрту!

— А при чём здесь я? Я не виновата, что у тебя нет денег. Почему это должно стоять между нами? Если ты меня любишь — какое это имеет значение?

— А если нет?

Оля замерла, не ожидая такого ответа. Потом вдруг села на лавочку, опустила голову на руки и заплакала. Данил хотел подойти к ней, обнять, успокоить, но почему-то не решился. Он постоял немного, потом надел наушники Алёны, громко включил музыку и пошёл в противоположную от школы сторо-

ну. Оля что-то крикнула ему вслед, но он уже не слышал и не обернулся.

Всю следующую неделю Данил сидел дома, листая в интернете паблики оппозиционных групп. Многие из них были уже закрыты, и на компьютере то и дело мелькало — «пользователь заблокирован». Данил понимал — перед митингом, который готовился в эти выходные, полиция чистит всё, убирает активистов, которые могли бы спровоцировать толпу. Они все теперь были опасными преступниками. Алёна не выходила на связь, её страница в «ВКонтакте» была заблокирована, и Данил не знал, что с ней и где она. На сообщения Оли он не отвечал и кричал на мать, если та заходила к нему в комнату и спрашивала про школу.

Вдруг в новостной ленте мелькнули знакомые красные волосы. Данил замер. Он отмотал ленту назад и посмотрел на фото. Сердце сжалось. Это была фотография Алёны, а под ней сухая запись.

«Елена Бочарова была задержана по подозрению в подготовке несанкционированного митинга. Ей вменяется часть 1 статьи 20.2 КРФ об АП, предусматривающая административный штраф, обязательные работы или административный арест. При задержании не оказала сопротивления».

Данил встал и прошёлся по комнате. Словаплыли перед глазами. Он вышел из дома и позвонил Диме. Тот взял трубку не сразу.

— Ты знаешь про Алёну?

— Знаю. Я её предупреждал, чтобы она не светила.

— Что можно сделать?

— Сейчас слишком много всего навалилось. Да не переживай! Её выпустят, когда всё закончится. Я тебе точно говорю.

— А если нет?

— Слушай, сейчас все на измене. Не усложняй всё. Или ты боишься за себя?

Он бросил трубку и поехал в антикафе на Сретенском бульваре. Но дверь была закрыта, и вывеска убрана. Казалось, что никакого кафе здесь никогда и не было.

## 6

Митинг должен был начаться на «Октябрьской».

Данил стоял в центре зала в метро, в кармане куртки он сжимал свой кастет. Было полно народу, но ему казалось, что он стоит один. Люди шли мимо. Данил видел свёрнутые плакаты в их руках.

Дима пришёл один.

— Такого шанса больше не будет, — говорил он быстро-быстро, пока они поднимались по эскалатору, — если получится сейчас засветиться, то всё, дело сделано, можно раскручивать свой паблик, даже свой канал вести, всё, что угодно. Эта уже не Марьино, не Болото. Это настоящая борьба!

На эту борьбу они ехали не одни. Данил оглянулся — весь эскалатор был заполнен людьми. Мужчи-

нами, женщинами. Совсем ещё девчонками и парнями постарше. Они уже не были такими хмурыми, как в тот раз. Они улыбались, смеялись, шутили. Но Даниле казалось — как-то неестественно. Натянута и страшно. Точно смех от безысходности, когда человек знает, что это конец, но не верит.

Эскалатор кончился. Все пошли к выходу. Дима всё говорил и говорил. Данил ничего ему не отвечал. Вместе с толпой они вышли на улицу.

Вся улица была залита людьми. На ней не было живого места. Люди были повсюду: у метро, в переходах, в сквере у памятника Ленина. Они ходили, стояли, сидели, говорили, молчали. Они были с плакатами, без плакатов, одни, группами, толпой. Казалось, целый город вышел на эту площадь. Люди стояли на балконах в домах напротив. Кто-то пытался залезть на Ленина и что-то кричать оттуда.

Полиция тоже была повсюду. Они стояли по периметру вдоль оцепленной улицы. И тут же — машины. Автозаки, или автозэки, как называл их Дима. Большая Якиманка была перекрыта — по ней должна была двигаться колонна. Данил убрал кастет в ботинок и прошёл через металлоискатель.

Встал в конце колонны — но конца не было, — и за ним тут же выстроились новые люди. Колонна медленно двинулась. Двинулись флаги. Самые разные — красные, оранжевые, жёлто-чёрные, чёрно-красные, чёрно-жёлто-белые. Данил никогда не видел столько флагов сразу. Ему всегда казалось — их ничего не может объединить. Но они здесь, вместе. Значит, что-то их объединяло.

Лозунги были тоже самые разные.

«Требуем отмены итогов выборов»

«Сфабрикованная дума не нужна народу»

«За честную власть»

«Фальшивые выборы — фальшивые законы — фальшивая власть»

«Нет тоталитарному государству»

«Нам нужен свободный интернет»

Люди сегодня пришли разные. Старики шли под красными флагами. На одном из плакатов было написано — «Дождёмся? Мне 77». Мужчины и женщины помолже шли с краю под чёрно-жёлтыми: «Свободу политзекам», «Мы хотим жить», «Сегодня моё место — здесь».

Были и молодые. Они не шли под чужими флагами. Они несли свои. Они не кричали лозунги. Они пели песни. Они шли весело. Над всеми ними раздавалось эхом — «Свобода, свобода...»

Но за всем этим неотступно следили другие — люди в форме. Их было гораздо больше, чем в Марьино. Они стояли напряжённо, молча, не переглядываясь и не переговариваясь. Руки за спиной, на боку — дубинки, на голове — каски.

Шли уже два часа. Останавливались, чтобы выкрикнуть лозунг. Потом шли дальше. Вдруг останавливались надолго. Выкрикнули лозунг. Один, другой. Но дальше не двинулись. Толпу словно заклинило.

— Что такое? — спросил кто-то.



Толпа никуда не шла. Огромная толпа людей остановилась и стояла без движения.

— Что будем делать? — спрашивали друг у друга все.  
— Сидеть и ждать.

Кто-то действительно сел на асфальт. Кто-то стал петь песни.

Данил с Димой отошёл в сторонку.

— Я пронёс файеры, — сказал Дима, — ты со мной?

— Почему вы кинули Алёну? — спросил Данил.

— Слушай, да что ты заикнулся? Ей говорили, чтобы она не лезла. Забей! Смотри, как круто вокруг!

— Это совершенно не круто! Она сейчас неизвестно где. Я даже не могу ей позвонить. И вы там ничего не делаете.

— Короче, ты со мной или нет?

Данил отвернулся, и Дима махнул рукой и скрылся в толпе.

Данил остался один. Люди стояли без движения, и обстановка накалялась — всем хотелось идти вперёд.

— Не пускают на сцену, — сказал кто-то тихо, но Данил был рядом и услышал, — перекрыли сквер, не дают аппаратуру, закрыли улицу.

Люди, кто тоже был рядом, резко ожили.

— Что будем делать? — слышалось в толпе. — Сидячую забастовку?

Люди с ненавистью смотрели вокруг.

— Сколько можно! Даже выступить не дают.

— Да всё понятно. Никто и не даст.

— Повторяется Болотная...

— Болотная, — эхом прокатилось по толпе.

Повисла тишина. Хвост толпы, ещё по инерциидвигающийся вперёд, стал напирать на тех, кто уже остановился, прижимаясь теснее. Данил вжался в чужие спины.

— Остановитесь! Куда вы идёте? — стали кричать люди в толпу.

Но их никто не слушал и продолжал напирать. Начало толпы по-прежнему никуда не двигалось, и люди сжались плотнее. У кого-то оказался мегафон — и над всей толпой раздалось:

— Никуда не двигаемся! Оставайтесь на месте! Не напирать вперёд!

Толпа вдруг замерла. Впереди явно что-то началось происходить. Данил пытался разглядеть хоть что-то поверх голов людей, но видел только массу. И впереди, и сзади. Повсюду. Только по бокам — двойное железное ограждение и полицию в касках, со щитками и дубинками.

Отступать было некуда. В толпе начались недовольные крики. Стало страшно. Если бы сейчас началась давка — тысячи людей просто задавили бы друг друга.

— Идите назад! — крикнули в мегафон. — Все идите назад!

Но назад никто не пошёл.

— Вход на площадь перекрыт. Митинга не будет. Шествия не будет. Организовываем пикеты, — кричали в мегафон.

— Какие пикеты? — кричали в ответ люди. — Где наша оппозиция? Где наши лидеры?

Данил услышал над собой гул — прямо над ними летал вертолёт.

— Газ! — крикнул кто-то. — Они распыляют газ!

Кто-то закричал, кто-то побежал вперёд.

— Никакого газа нет! — кричал парень в мегафон. — Всё нормально! Просто стоим здесь!

Но просто стоять никто не хотел.

— Мы не уйдём! — теперь скандировали люди.

— Мы здесь власть!

— Под суд! Под суд! Под суд!

— Позор! Позор! — бросали в лица полицейских.

От Калужской площади до Болотной по Большой Якиманке стояли люди. На два километра. Люди, запертые со всех сторон, скандирующие лозунги и не собирающиеся уходить. Стоять спокойно в этом замкнутом пространстве, полном ненависти, было бесполезно. Данил был среди этих людей и чувствовал всю эту ненависть. Он достал кастет и сжал его в руке.

Было не понятно, что делать дальше. С той стороны — город. Здесь — оппозиция. Там, дальше, за площадью — Кремль. Между ними — люди в касках, отгородившиеся щитами.

— На Кремль! — крикнул кто-то.

— На Кремль! — тут же подхватила толпа. — Это наш город! Это наша страна! Кремль будет наш!

— Идём вперёд! Прорываем оцепление!

Тысячная толпа двинулась вперёд.

— Не надо идти вперёд! Там всё перекрыто! Стоят автозаки! Остаёмся на месте! — кричал мегафон.

Его уже никто не слушал. Масса двинулась. Данил прижался к какой-то спине. Он понимал, что толпу не остановить, и он не сопротивлялся, шёл вместе со всеми, хотя уже ясно осознавал, что впереди — не Кремль. Впереди был ОМОН.

— Кремль будет наш!

Все эти флаги — красные, чёрные, оранжевые, все эти маски — Гая Фокса, чёрные повязки до глаз, цветные колготки на лицах — все они вдруг объединились под одним лозунгом, который не был написан на их плакатах. Его только что выкрикнули.

— Кремль будет наш!

Люди ломились вперёд. Никто не видел, что происходит, но было ясно, что их опять отрезали от площади. Наконец все, словно под действием какого-то несказанного слова, повернулись не вперёд, а в стороны. Туда, где всё это время плотной линией за ограждением стояла полиция. Данил тоже развернулся и сильнее сжал кастет. Несколько секунд они смотрели друг на друга — люди, замкнутые в этой дикой страшной давке, и полиция, охраняющая их от всего города. Через секунду они бросились друг на друга, смешались — и цветные спины людей было уже не отличить от серо-чёрных спин полицейских.

Данила отбросило в сторону — он отлетел, но удержался на ногах. Где-то рядом раздался женский визг. Данил ползком протискивался сквозь массу людей. Он уже не понимал точно — куда. Стало тя-

жело дышать, словно улицу заполнил какой-то едкий газ. Люди забирались на заграждения, перелезали через них, отбрасывали, словно щепки. Кому-то удалось прорвать цепь. Тогда полиция стала окружать людей группами, выхватывать по одному и оттащить в сторону.

Люди кричали. Женщины визжали. Было сложно понять, кто есть кто.

— Бей народ! — скандировали люди. — Бей свой народ! Холуи! Предатели! Фашисты! Вешать! Бей! Бей! Бей!

Рядом упало древко с флагом — белая звезда на красном фоне и чёрные слова, которые Данил уже не мог разобрать. Крики раздавались повсюду. Кому-то удалось прорваться и вырваться сквозь двойную блокаду. Кто-то уже лежал на асфальте. Кто-то пытался перелезть через заграждение. Кто-то прорывался вперёд. Кто-то назад. Молодой парень оказался зажатым между двумя заграждениями. С одной стороны на него давила полиция, с другой — люди. Его рука, вся в крови, торчала в решётке.

— Снимайте с них шлемы и надевайте на себя!

— Не забудем, не простим!

Кто-то бросил фэйер. Повалил дым. Полетели бутылки. Данил не знал, куда бежать. Везде были спины. Омоновцы по двое врываются в толпу, выхватывали людей, заламывали руки, отходили. Они шли гуськом, один впереди, другой сразу за ним. Остальные стояли, взяв друг друга под руки, образовав цепочку, которую и пытались прорвать.

Данилу захотелось закричать. Но не лозунги, а просто так. От страха. Но его крик среди всеобщего гама никто бы не заметил. Он отполз в сторону. Он понимал, что его затопчут, если он не будет двигаться, но двигаться было некуда. Он обхватил голову руками, жёсткий кастет, который он всё ещё держал в руке, жёг кожу, словно огнём. Данил то и дело замирал, предчувствуя удар. Случайный — пробегающего мимо. Или специальный меткий удар берцем.

Зазвонил телефон. Незнакомый номер.

— Слушай, пацанёнок, я что-то не понял, ты бабки когда вернёшь? Уже пять косарей накапало, пока ты бегаешь. Мне что, мамку твою навестить?

Это был Тимур — Данил узнал его сразу.

— Мать не трогай, — ответил он, задыхаясь. — Я отработаю.

Мама.

Она сидит обычно на диване на их кухне, вечно грязной, тёмной, маленькой, узкой — делает салат и пьёт кефир, — потому что ничего остального ей уже нельзя из-за плохого здоровья. Переключает каналы на телевизоре, пока не найдёт какой-нибудь сериал. В халате. Тоже грязном, застиранном — некогда купить новый, некогда перестирывать, некогда убратся. Всё некогда. Нечкогда вызвать сантехника и починить кран. Нечкогда не успеваает. А поздними вечерами, когда приезжает из своей Балашихи, сидит и переключает каналы.

Мама.

Он вспомнил, как первый раз увидел, как плачет мама. Это было, когда умер отец. Он умер не так, как она боялась и предчувствовала — не один, на неизвестном объекте, а дома, в своей квартире. Скорую вызвал Данил. Отвезли. А через час его не стало. Данил был с ним в больнице. Мама — на работе. Он вернулся домой. Стал её ждать. Мясая на кухне, пока мама разувалась.

— Мам, тут случилось, — начал он.

Она сразу догадалась, бросила сумку. Данил никогда раньше не видел, чтобы она плакала. А тут... Он даже испугался.

— Ну мам, ну ладно, ну не плачь, — говорил он.

А сам ходил по маленькой квартире и что-то искал — то ли валерьянку, то ли ещё что. А мама всё плакала.

Тогда он ненавидел отца. Он умер, он их бросил, ему было уже всё равно. А мама была живой — и она плакала.

Данил снял и отбросил кастет, взял телефон, нашёл номер мамы — он хранился в избранных.

— Даня, ты где? — сразу спросила она, точно чувствуя что-то. — Я у Оли дома. Она говорит, что ты не отвечаешь на её сообщения, а в новостях передают про какой-то митинг. Что случилось? Ты не там?

— Нет, я в метро. Всё нормально.

— Даня, что происходит?

— Мама. — Он услышал, что она плачет, и у самого вдруг навернулись слёзы. — Прости меня, мам. Всё будет хорошо. Я всё решу. И с институтом тоже. Я что-нибудь придумаю. Я сейчас приеду.

Он положил трубку. Но идти было некуда. Вдруг он заметил маленький проём между двумя заграждениями. Видимо, кому-то всё-таки удалось прорвать цепь. К этому проёму уже протискивались с разных сторон. Данил понимал, что у него есть всего несколько секунд. Он вскочил на ноги, подскочил к этому проёму и исчез из толпы. Он бежал, спотыкаясь, но не останавливаясь и не оборачиваясь.

А где-то бежали люди, дрались люди, кричали люди. Прорывались вперёд.

Максим ЖУКОВ

## БАГРЯНЫЕ ОБЛАКА

*Главы из романа*

### Путь домой

К утру договорились выбираться на такси. Важную роль сыграл Валентин Чадов — закалённый в боях лейтенант, принимавший участие в штурме Грозного. У него в Архангельске родилась дочь. По фотокарткам — очень красивая. Мысли о ней занимали все его свободное время. Он мог подолгу запальчиво

рассказывать о крохе и светиться от счастья, но стоило перевести тему на Грозный, лейтенант мрачнел и замыкался в себе. Совершенно очевидно, что его неумные скорострельные рассуждения были вызваны не столько радостной вестью, сколько возможностью уйти от безрадостного прошлого.

Командир роты, в которой мы ночевали, раздал военные билеты с вложенными в них деньгами. Вкратце проиллюстрировал:

— Или скидываетесь и едете с Чадовым или остаетесь. Колонна задерживается.

На раздумья ушло не больше минуты.

Мы вышли из казармы за два часа до рассвета. Весь полк к этому времени спал, погруженный в туман, сквозь который проступали очертания казарм и часть бетонного забора, что брала своё начало от КПП. С неба реяли редкие, словно боящиеся приземления снежинки, но не делали зимы, как отдельная капля не делает моря. Снег припорошил следы битв, покрыл грунтовую дорогу и редкие карликовые деревья. Тут и там мелькали части военного пейзажа: дома с выбитыми окнами и проломами вместо дверей, покореженные ржавые легковые автомобили, в своё время разграбленные и стянутые в полосу отчуждения, придорожные канавы, оспинно изрытые воронками от бомб. Воронки заросли разнотравьем, и можно было подумать, что стреляли терновыми косточками.

— Здесь мы в последний раз повстречались с чеченкой, о той, что я не хотел фонтанировать в санчасти, — раздумчиво сказал мне Володя и показал на чёрный от копоти пригорок. От него тонкой полосой вилась дорожка к воротам полка, частично прикрытым железной тушей выведенного из строя БТР. — Как раз заезжали последние машины колонны. Наш ЗИЛ шёл в самом хвосте, поэтому я отчётливо слышал, как над ней потешались наши разбойнички. Водила то ли случайно, то ли спесом, чтобы нагнать страху, проехал от неё в полуметре. Ещё и просигналил, придурик! Девушка от испугу выронила корзинку с едой. Я спешил и решил ей помочь. Мы разговорились. Припомнили прошлые встречи. Я выдал ей анекдот, но она не знала, как на него реагировать. А потом огляделась и, смекнув, что поблизости никого, сдержанно прыснула в кулачок. Минутная идиллия пробудила во мне первозданное, нещадно выпотрошенное из сердца войной.

— Но идиллия твоя долго не протянула, — напомнил я.

Артамонов с болью посмотрел на меня.

— Ни с того ни с сего обложили огнём. Кто стрелял и откуда, было неясно, но когда показалась машина с крытым верхом, смекнули, что весь сыр-бор из-за неё. Как по команде кинулись в укрытие, но до ворот не добежали — прогремел внушительный взрыв. Эта колымага оказалась полной взрывчатки! У полка вырос огромный сияющий купол. И если бы не вон тот БТР, — Артамонов кивнул на груду железа, — я бы поджарился вместо него. Волна обломков

и чёрной земли поднялась до горизонта. Загорелись даже дома, до которых было метров сто, если не больше. Местные жители метались в огненной западне. Но помочь им не представлялось возможным — пожары пылали по всему периметру полка. Меня прилично контузило. Ребят посеколо осколками, но все остались живы, несмотря на то, что перестрелка длилась до поздней ночи. А к утру, когда мои уши постепенно открывали дверь в мир звуков, поступил приказ прочесать пепелище. Под обломками среди тел террористов мы нашли местных жителей — женщин и детей. Среди них ползал пацан с окровавленным лицом. Он тормозил убитую мать и дёргал за руку, пытаясь поднять. Я не сразу признал в ней ту самую чеченку.

— А когда узнал?

— Склонился перед ней на колени, расплакался и попросил прощения. Затем сгрёб мальчонку и побежал в санчасть, унося с собой что-то молящее. Я хотел помочь ему — парень истекал кровью.

— А на КПП не остановили?

— Пытались, но я им как на духу выдал: «Я его здесь не оставлю».

И по его взгляду я понял, что он делает отсылку к не слишком счастливому детству, к школе для трудных подростков, возможно — к холодным вечерам, проведённым на улице или в подвале в кругу полуголодных сверстников. Наверняка кто-то помог ему, вытащил из дурной компании и направил постигать азы школьной жизни. Помогал рублём или советом. В детстве Володя наверняка голодал и жил в нищете. И в таком случае несправедливо, что он снова оказался лицом к лицу со смертью. Это испытание должно было его закалить, но вместо этого едва не сгубило.

Артамонов, как и я, прощался с прошлым и главным образом с войной. С этим страшным словом у представителей старшего поколения ассоциировалась конечно же Великая Отечественная. Для нас, полуголодных, завшивевших пацанов — это совсем другая война. Она лишена всякого смысла. Мы не только воевали с условным врагом, но и друг с другом. А между тем за время моей службы в роте материального обеспечения погибло три человека. По меркам многомиллионной России и войны в Чечне, эта цифра, может быть, и невелика, но за цифрой стояли несчастные семьи, потерявшие своих родных. Сколько погибло в полку, я точно не знаю. Но хочется верить, что меньше чем 19 августа прошлого года. Кровью умылись те, кто прошёл первую и вторую кампанию. Выжили самые стойкие или те, кого Бог оберегал от костлявой. Отрадно, что один из таких счастливчиков находился с нами. Он ехал домой, к семье, чтобы навсегда забыть этот ад, косвенными участниками которого являлись и мы.

Когда я смотрел на Чадова, мне казалось, что все мои заслуги перед отечеством минимальны. Если кто из нас настоящий герой — то этот бравый лейтенант, у которого прямо земля горела под ногами —

так он летел к машине, радостно что-то выкрикивая. Наши ребята рядом с ним выглядели школьниками-переростками, выпущенными на прогулку. Но свежий воздух и долгожданная вольница делали своё дело — мы постепенно раскрепощались.

Когда оказались у видавшей виды чёрной иномарки с перетянутым скотчем лобовым стеклом, все почувствовали себя хозяевами положения. Кто-то уже, заглянув в военник с наличностью, выстраивал планы по трате своих сбережений, кто-то с разочарованием осматривал пустые лотки и деревянные ящики рынка. А мы с Артамоновым влезли в машину, заняв два места позади смуглолицего водителя с чёрной шевелюрой. Приняв от нас заранее оговорённую сумму, он потребовал с каждого ещё по пять сотен, «на бензин». Пришлось раскошелиться.

Местные поселения, находящиеся рядом с рынком, всё ещё спали, так что наш «побег» остался для всех незамеченным. Мы неспешно покатались вдоль холмистой местности с редкими низкорослыми деревьями. В окнах машины проплывали скучные однообразные пейзажи предгорий и витиеватой дороги, усыпанной каменным крошечком. Из попадавшихся по пути домов выходили местные жители.

Сидорчук в такт однотипных мелодий семенил ногами и временами стучал по коленкам, словно заправский ударник рок-группы. Фурманов всё никак не мог успокоиться, что не прикупил на рынке дембельскую форму. Чадов, улыбаясь, перебирал фотографии, на которых были запечатлены жена и родители. Взглянув на дорогу, он заговорил:

— Если не ошибаюсь, скоро остановимся. Тут недалеко находится военная часть и небольшой базарчик. Вы останетесь в машине, пойду один я. Деньги давайте и запишите, что взять. Остановимся минут на пятнадцать — не более. Тут любят солдат вроде нас, знают, что у них с собой «боевые» и они хорошо покупают.

Первый блокпост с БТР находился в Шатое. Пацаны-срочники окружили нашу машину. Наперебой спрашивая, куда держим путь и что за музыка играет в салоне, протягивали руки к пачке выставленных Чадовым в окно сигарет. Водитель от греха подальше отогнал их от авто.

К машине подошёл старший поста. Он попросил сопроводительные документы. Потом отдал их контрактнику и, приложив руку к шапке-ушанке, пожелал доброго пути.

На рынке при отсутствии привычной солнечной иллюминации с её лимонно-жёлтым колоритом, припорошенные снегом лотки придавали пейзажу с ветхими одноэтажными зданиями акварельный оттенок. Черные от влаги доски подпирали кирпичи, сложенные один к одному. Местные жители, прижимаясь к стеклам машины, навязывали свои нехитрые товары. Их примитивный, но весьма эффективный метод сработал: Валентин Чадов купил у них какие-то леденцы и брелки, ругая себя за излишнее расточительство.

— Ну вот, кажется, ничего не забыл, — сказал запыхавшийся Валентин. — Едем!

Он достал из-за пазухи початую бутылку водки и, взглядом спросив разрешения у водителя, протянул нам.

— За рождение моей доченьки, по глоточку, мужики.

В машине поднялся радостный гомон.

### Невесёлый расклад

После второго тоста пили не чокаясь.

— Первая чеченская кампания — это самая поганая война, отмывание денег и предательство, — сетовал ветеран боевых действий Валентин Чадов. — Мы могли раздавить боевиков за полгода, но нам не давали, отводя артиллерию на вторые позиции. Выходили колонной под сотню машин. Первой шла разведка, она докладывала, где базируются боевики, затем выступала пехота. В пунктах, где массово проживали мирные жители, старались не использовать тяжелую технику или обходили поселения стороной. Постоянно передвигались. Долго стоять на одном месте считалось опасным.

— Товарищ лейтенант, — немного развязно обратился Сидорчук к Чадову. — А вы, правда, прошли обе войны без ранений?

— Так и есть. Но ранения мои вот где. — Чадов приложил ладонь к сердцу и грустно подытожил: — Мы стараемся не думать об убитых боевых командирах, о друзьях и товарищах, каковые прикрывали нам спину, они оставляют самые глубокие раны. — Помолчав, добавил: — Думаете, так просто убивать?

Мы переглянулись.

— Вижу — вы не обстрелянные воронята. Всё храбритеесь, геройствуете как в кино. А здесь такая показуха жестоко наказывается. Высунулся из укрытия — труп, отвлёкся на мелочь — «груз двести». Я участвовал во многих боевых операциях. Мы стояли в Шали, Ведено, Агишты. На базах жили в блоках по пятнадцать человек. Самыми тяжелыми считались штурмы Грозного, боевики дрались за свою столицу насмерть, да и обучены были гораздо лучше. Сначала мы взяли городскую больницу, потом стадион «Динамо». Там царил беспредел, — заскрежетал зубами Чадов. — На щитах распяли наших солдат и выставили в окна. Боевики хотели устроить, показать, что с нами будет. И мы сначала боялись, как бы не задеть пацанов. Но на вторые сутки мученики перестали подавать признаки жизни, и мы пошли в лобовую атаку. Я действовал как машина. Передвигался короткими перебежками. Когда падал, вертелся на земле, как уж на сковородке, постоянно стрелял одиночными, экономя патроны. И всё считал, сколько времени я продержался, не слег замертво, как многие другие бойцы. А потом наступила такая тишина, будто всё вокруг вымерло. Подъехала тяжёлая техника. Но не для продолжения боя, а для того, чтобы забрать по-

гибших. Трупы в тот день увозили целыми самосвалами.

Взгляд у Чадова застекленел.

— А в своих не приходилось стрелять? — спросил вдруг водитель и все повернулись к нему. Кто с пугливым недоумением, кто с неприязнью и злостью.

— Дело в том, — продолжал Чадов, тщательно подбирая слова, — что у «чехов» на военной технике чаще всего работали наемники с Западной Украины, талибы, моджахеды, америкосы. «Чехи» не стеснялись использовать для разведывательных целей даже детей, которые под предлогом сбежавшей скотины выходили на огневые позиции. Ближе к концу первой войны наш полк регулярно обстреливал миномёт, установленный на машине. Когда мы его подорвали, то оказалось, что миномётом управлял наемник, бывший офицер советской армии. Он обучал и тренировал чеченцев. Ползал, израненный, возле горящих обломков и умолял о пощаде. А я высился над ним, как палач, выжидая, когда он повернётся лицом — не мог стрелять русскому в спину.

— Э, какой он русский, — опять вмешался водитель.

— Он просто предатель, — робко уточнил Фурманов.

— Предателями у нас считались те, кто, бросив охраняемые рубежи, подался в горы, — сказал с пренебрежением лейтенант. — Причины конечно же разные. Ребята не выдерживали физических нагрузок, не могли мириться с суровым климатом, вшами, голодом и постоянным чувством опасности. Прибавьте к этому дедовщину, и картинка сама нарисуетя. Служил у нас прапорщик по кличке Боров. Любил над солдатами издеваться, особенно над молодыми. Мы его предупреждали: завязывай, мол, с насилием, он — ни в какую. Ну и накликал ЧП: пятеро молодых солдат, не выдержав издевательств, ушли к чеченцам. Несколько дней о них не было ни слуху ни духу. А затем как-то ночью Боров исчез. Больше о нем никто не слышал. Ходили слухи, что за ним приходили чеченцы.

— А из тех пятерых кто вернулся? — с тревогой задал вопрос Фурманов.

— Только двое. Избитые, израненные, но живые. Что с ними случилось — не спрашивайте, знаю только, что их арестовали как дезертиров, увезли в Москву и там судили.

— Раненые? Похоже, их чеченцы пытали. А их вместо больницы — под суд. Мда... Прямо скажу, не завидная им выпала роль, — рассеянно пробормотал я, нервно листая военный билет и не находя в нём отметки, что служил в горячей точке. Ни издевательств «дедов», ни больниц, ни побегов — ничего не содержал этот документ. Только официальные холодные записи, расцвеченные разве что присвоением Гвардии...

— Эпидемия работорговли на нашей территории — следствие войны, которую спровоцировала

Россия, — выдвинул смелое предположение Чадов. — Промышленность, фабрики, заводы — всё превратилось в руины, кроме нефтяных объектов. Единственным источником заработка стала продажа солдат.

— Я вроде что-то слышал такое, — проговорил Сидорчук и наткнулся на мой непрошибаемый взгляд-бронепоезд. Конечно, он знал о моих злоключениях на пересыльном пункте. Наверняка хотел обыграть их и приписать какому-нибудь сослуживцу, который остался в полку. Но подымать такую тему в машине с водителем кавказцем я счёл не разумным. Удивительно, но Чадов без колебаний доверился этому человеку. Даже мы под парами выпитого заметно нервничали. И наша тревога только усилилась, когда Чадов с водителем на каждом блокпосту приноровились спрашивать у нас деньги. На вопросы «зачем» лейтенант предпочитал отшучиваться, но мы, не будучи дилетантами, догадывались — он темнит.

На очередной остановке Чадов, не спрашивая уже денег и явно сердчая, ушел, взяв наши документы, с поставыми, и долго не появлялся. Затем он буквально вылетел на улицу красный как рак. От разъяснений отказался, послав куда подальше водителя. Не обращая на него внимания, поставые попросили выйти меня, Артамонова, Сидорчука и Фурманова из машины, проводили темными коридорами в холодное помещение с запахом краски, бетона и пороха.

— Раздевайтесь, — бросили нам.

— Что, совсем? — округлил глаза Сидорчук.

— Исподнее бельё можете не снимать.

С минуту мы ошеломлённо молчали. Потом посоветовались и, зябко ежась, принялись выполнять приказание.

Всю снятую одежду отдали на проверку собакам. И пока голодные, злые псы выполняли поставленную задачу, мы с ужасом смотрели на происходящее и молились, чтобы нас не поставили прямо здесь к стенке за какую-нибудь провинность.

— Чувствуете, как пахнет порохом? — спросил с мстительной интонацией один из поставых. — Это мы развлекались, пока вас ждали.

На мой молчаливый вопрос ответа не последовало. Нас обыскали и разрешили одеться.

— Черт возьми! Это какое-то недоразумение, — простучал зубами Артамонов.

Остальные помалкивали, наверняка с ним внутренне соглашаясь.

Но и на следующем блокпосту «недоразумение» повторилось. В Алхан-Юрте мы попытались во всём разобраться.

— Нас шмонают, как террористов. Вероятно, кто-то шепнул, что мы хотим провести оружие или наркотики, — фиксировал Сидорчук.

— Нее.. На кой тогда обыскивать в сотый раз?! — возмутился Фурманов. — Сейчас опять денег запросят. Будем скидываться, мужики?

Артамонов первым изъявил желание расплатиться. Он обосновал это так:

— Такси дожидаться не будет. Если упрёмся и не будем платить, нас тут оставят, придётся караулить колонну.

— Они не имеют права нас держать, как каких-нибудь зеков, — буркнул Фурманов.

— Во-во, — поддержал я его. — В чём мы провинились? Похоже, лишь в том, что с деньгами едем. Откуда они об этом знают? Денежки у нас забрал лейтенант и рассовал по конвертам.

— Да спелся он с этими козлами, — не унимался Сидорчук.

— Козлы — не козлы, а выметаться отсюда надо, — попытожил Артамонов. — И пока мы отсюда не выберемся, сопровождающий для нас — как родная мать и отец.

К нам подпылили хмурые солдаты с блокпоста. Было видно, что они нас презируют. Наверно, изучили бумаги, где написано, что мы все комиссованы.

— Все свободны! — громко отчеканил нам в спину один из них. Чеканка подобно короткой очереди полоснула по живому.

Выйдя на свежий морозный воздух, я с удивлением понял, что нас держали дольше, чем мы предполагали. Ночь, вступившая в свои права, казалась необыкновенной. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на девственно чистом, тёмно-синем небосводе, усеянном яркими звёздами. Бескрайние холмистые просторы завораживали крутыми изгибами, а рытвины с почерневшим, грязным снегом, казались бездонными озёрами.

Водитель подметал штанами обочину дороги. Завидев нас, он не без радости гаркнул:

— Ну наконец-то, чуть не уехал!

— Мы же тебе пообещали за простой ещё денег, — раздался обиженный голос Чадова.

Лейтенант спустился с каменной насыпи, на которой возвышался блокпост. Кинув бумаги на капот машины, со злостью сказал:

— К сопроводиламк пришпандорили лист с распечаткой командировочных и всего, что вам полагается по сроку службы. Поставые обзвонили все блокпосты и предупредили, что из нас можно верёвки вить.

— Неужто со всеми так? — спросил я.

— Дело в том, что постановление госпитального ВВК с результатами медицинского освидетельствования должно находиться в этих бумагах. — Лейтенант показал на шевелящиеся от ветра листы, которые стал торопливо собирать с капота Сидорчук. — Формально вас можно держать до выяснения обстоятельств около суток. Далее за вами должны приехать... — грустно суммировал Чадов. — И отвезти не домой, а назад в полк! Чувствуете, к чему я клоню? Сейчас главное посадить вас на ближайший поезд или автобус, — добавил он мрачно.

Мы снова тронулись в путь.

В машине Чадов вырвал те самые треклятые листы с фиксацией нашего скромного жалования и выбросил в окно. Ветер немедленно подхватил их и вознёс над залитой лунным светом дорогой.

### Последний блокпост

Утром в машине была напряжённая тишина. Водитель отсутствовал. За окнами большими белыми хлопьями падал снег. Сахарная белизна вызвала чувство нежности, от неё так и ныло в груди. Снегопад действовал на меня как наркотик. Чтобы хоть чем-то себя занять, мы принялись протирать запотевшие окна.

Из-за обильного снегопада я увидел водителя только, когда он оказался почти у самой двери. Он выглядел крайне уставшим: волосы взлохмачены, глаза от трёхдневного бодрствования распухли, и взгляд, обычно острый и цепкий, вгрызался в нас подобно загнанной бормахине. Без единого слова он включил печку, потёр красные от мороза руки и протянул лейтенанту билет.

— Других раздобыть не получилось. Эти сволочи на меня косились как на террориста! Не для того я кровь проливал, чтобы меня ставить в один ряд с этими ублюдками. Я же их пачками истреблял!

Водитель ударил по приборной панели. Из недр бардачка выпали небрежно сложенные, сопроводительные документы, конверты с деньгами, одноразовая бритва и нож с изогнутым лезвием. На лице мужчины заиграла ухмылка злодея.

— Ты что надумал? — спросил испуганно Чадов. — Ты в своём уме, Боров?!

— Спокойно, никто никого не собирается резать.

Водитель говорил без акцента, непривычным для него тоном. Более того: веки его глаз набухли, казалось, ещё немного — и он разрыдается. Боров, тот самый прапорщик, который никого и ничего не боялся, любил издеваться над солдатами и возносил себя до небес, дал слабину. Он, рыча, подобрал бритву и стал остервенело сбрасывать маслянисто-чёрную бороду. Чадов наблюдал за ним, скрестив руки на груди, как это делают обвиняемые на скамье подсудимых.

— Ну, чего притихли? — поинтересовался Боров, сжимая в огромной ручище тонкую пластмассовую бритву. Я подумал, он свернёт ей шею, точно птице. Но этого не случилось. Он ещё плотнее прижал одноразовый станок к подбородку и с силой выдрал клок густых, припорошенных снегом волос.

Фурманов с ненавистью и содроганием смотрел за происходящим. Видимо, Боров для него был олицетворением человеческой грубости. Сидорчук, напротив, с интересом наблюдал за перевоплощением водителя. Он ловил каждое его слово и, наверняка, анализировал и раскладывал по чашкам весов, чтобы разобраться, кем на самом деле Боров являлся — злодеем или же положительным персонажем.

— Полюбуйся на этих сыкунов! — торжествующе брякнул Боров. — Они все потеряли дар речи. Где ещё ты видел таких ничтожных созданий?

— В бою, идиот! — закричал Чадов.

— А кто из них воевал? Эти двое, — он указал на Фурманова и Сидорчука, — сразу видно, стреляли только по бездушным мишеням, а этот, — он ткнул пальцем в меня, — метался по всей Чечне, будто чёрт.

— А он? — спросил холодно Чадов.

Артамоновым овладело отчаянье.

— Чеченку оплакивал. Ты на чьей стороне воевал, боец?

— А ты не чьей?! — сорвался Чадов.

Потерявший рассудок Боров перелопатил крикуна. Жёстко и беспощадно. Он был страшнее ваххабитов. Я испытывал к нему такую ненависть, какой никогда не питал к людям. И когда он схватил лейтенанта за горло, я не выдержал и кинулся на водителя. Боров, отпустив Чадова, урезонил мой выпад одним молниеносным движением. Выдержав паузу, он назидательным тоном проговорил, обращаясь ко всем:

— Не стоит судить волка по овечьей шкуре. Я не прятался и не переходил на сторону врага. Сколько я ваших ребят переправлял и туда и обратно? Больше сотни! И никого не обманул, не предал. Всех доставил до вокзала, а кого-то даже до самого дома довёз. А колонны, на которые покушались «чехи», сколько их я спас, вовремя предупредив о засаде? Неужто забыл Чадов, за что я страшал пацанов, когда служил бок о бок с тобой? Они в карауле спали, сбегали с постов, а потом плакались командирам, что прапорщик — злой, он их незаслуженно обижает. Да за такие провинности в военное время положен расстрел! Но когда те двое, из тех, кто не выдержал и сбежал, вернулись и рассказали о пытках, я сам пошёл на риск, чтобы разыскать остальных. Думаешь для отчётов, для галочки? Мне их матерей было жалко! Не для того они рожали, чтобы их дети гнили в плену, как приготовленные на убой животные.

— Ты их не нашёл? — спросил не своим голосом Чадов.

Боров сверкнул на него зло глазами.

— Считаешь, если моя мать чеченка и живёт в этих краях, мне открыты все двери?

Мы с недоумением уставились на водителя.

— Вот ты представил меня только в дурном свете. Ничего не сказал про больного сына, к которому я систематически уходил. Ему нужны были деньги на лечение, а ещё квалифицированная помощь, моя любовь и забота. И я как прапорщик понимал, в чём нуждается семья. Отдавал всё, что мне полагалось, что-то иногда подворовывал, менял на рынке, а сам всё время ходил в обносках и с двойной бронёй — не из-за того, что боялся, а нет. Мне хотелось, чтобы сын не остался сиротой.

— Ты просто не верил в нашу победу, — выпалил Чадов.

— Потому что это не война, а безумие. Мой отец — не чистокровный русский, но и то прекрасно это понимал. Когда мы собрали с ним достаточно денег, он уговорил мать переехать в Москву. Несмотря на желание ехать с ними, я остался, потому что понимал — семье нужны деньги, чтобы на новом месте встать на ноги, обзавестись жильем и приличной работой. Прошёл ровно год, и сегодня — мой последний рейс по маршруту «в ад и обратно».

— Мне казалось... — подал голос Сидорчук, — что Чечня — ваша родина.

Боров удручённо посмотрел на него через зеркало заднего вида и проговорил:

— У меня нет тепереча родины.

Атмосфера в машине как-то странно накалилась. И дело было не в том, что мы наговорили друг другу, а скорее в том, о чём умолчали.

— Отправляй этого ершистого домой, — бросил Боров, кивая в мою сторону. — Скверный характер, сынок. Чувствую, нелегко тебе придётся по жизни.

Он сжал кулаки и набычился. Чадов расценил этот жест как последнее китайское предупреждение, торопливо сунул мне в руки конверт и билет на автобус.

— Ты едешь один.

Я попытался ему возразить, но лейтенант меня предупредил:

— За нами следят, понимаешь? Опять хотят обогреть. Если хочешь скорее домой — помалкивай и слушай. Вон тот белый автобус видишь? Тебе надо добраться туда. Если по дороге схватит патруль, мы тебе не помощники. Вот твой военный билет...

Выпроводив меня на улицу, Чадов с водителем прижались к замёрзшим стёклам. Ребят я не видел. Хотя они тоже наверняка провожали меня. Глупо, конечно, я даже никому из них не пожал руку. Я сделал несколько неуверенных шагов к автобусу. Может, вернуться?

Вокзал скрывала пелена падающего снега. Люди спешили к автобусам. Никому до меня не было дела. Я чувствовал себя на открытом пространстве незащищённым. Военная форма стягивала тело, превращая в запуганного недавними выстрелами зверя.

Долой оружие и конфликты, долой приказы и унижительные наказания. Я свободен, свободен! Внутренний голос старался порвать те нити, которые ещё связывали меня с армией. Сознание блуждало в каких-то мирах, полных отчаяния и тихой грусти. Мир казался ненастоящим. Люди — марионетками. Но ведь и я чувствовал нити. Значит, и я — часть великого представления, грандиозного шоу.

И вдруг... Что такое? Раздались резкие звуки какой-то песни. Совсем не далеко от меня высокие кожаные ботинки топтали ковёр девственно-чистого снега. Военные в тёмно-зелёных бушлатах искали к кому бы придраться. У них на плечах красные повязки. Похоже, это патрульные, о которых меня предупреждали. Их стоит бояться, потому что или сразу возьмут в оборот, или проверят бумаги и не найдут



той самой справки, из-за которой нас держали на каждом блокпосту. Эти двое — ещё один блокпост, на сей раз последний. Я подходил к ним со спины всё ближе и ближе... Снег хрустел под ногами. Он выдавал меня, нет...

И, о чудо! Автобус неожиданно тронулся с места и стал разворачиваться. Патрульные попятись к стенду с расписанием рейсов, а я буквально влетел в салон через закрывающиеся двери.

### Багряные облака

Астрахань встречала обильным снегопадом, промозглым ветром и сумеречной толкотнёй. С чувством радостного возбуждения я вышел на привокзальную площадь и окунулся в толпу замёрзших, облепленных снегом людей. Какие-то девчата отчаянно пытались пробраться к заснеженному транспорту. «Было бы здорово, если бы одна из них оказалась Измайловой». И как-то сразу вспомнилось, что никто не знает о внезапном приезде, так же как и о том, что я уволен в запас по состоянию здоровья.

В голову лезли всякие глупости вроде Виктории в объятиях чудаковатых соседей, или мать с резонным вопросом: «А почему ты так рано?» Что я ей отвечу? «Комиссовали» — так и скажу, снимая армейскую одежду, словно вторую кожу — настолько она стала привычной. Многие ходили в шубах, полупальто или коротких курточках с капюшонам. Несмотря на погоду, на каждом втором подростке были кроссовки. «Вечание времени», — подумалось мне. Спортивная одежда и доступнее и практичнее. Как и поддержанные импортные автомобили с вытянутыми акульными формами и огромными глушителями.

На заправке через дорогу мерцали расценки на бензин и дизельное топливо. Я удивился значительному росту цен и в то же время отсутствию нищих с трогательными надписями на грязных картонках. Народ проявлял характерное для него стоическое терпение, практически безропотно соглашаясь на любые эксперименты властей. Кто прогнал обездоленных с улицы? Грозные законы или какая иная беда?

В раздумьях я направился вдоль хаотично разбросанных у вокзала киосков с броской рекламой сладкой воды, пива и главного местного угощения — шашлыка. Чуть в стороне у забора укутанные с ног до головы бабушки предлагали балыки, сушёную воблю и сигареты, до сих пор продававшиеся у них открыто. С иголки одетые пэпээсники приобрели у них курево и теперь дымили прямо там — в закутке, у гор запорошенных снегом ящиков, прикрытых брезентом. По нему, приюхиваясь, разгуливали тощая дворняга с ушами, как у спаниеля. Жаль, но угостить собаку было нечем.

Я подошёл к самой вертлявой и бойкой пенсионерке и поинтересовался, где можно приобрести гостинцев.

— Эх ты исхудал, служивый. Не кормили тебя? Хошь, угощу пирожками? Только они у меня не

здесь, а у вокзала у тёти Зины. Мы с ней вдвоём в бизнесменши подались, — шепелявя, хохотнула пожилая женщина.

— Нет, благодарю. Вы бы лучше собачку прикормили. — Я кивнул на завилявшего хвостом кобеля.

— Да ну его к лешему! Он жesh шелудивый.

— Зато добрый. И жить хочет не меньше нашего.

— Это ты верно подметил. Значит, так, если не хочешь, чтобы тебя облапошили, походи по киоскам. Вишь, их тут народилось, как грибов после дождя. Скоро и пройти будет негде, — подметила с неудовольствием «бизнесменша», предложив симпатичный с виду балык. — Возьми, не пожалеешь, а я в благодарность твоего пса покормлю.

— Для нас это не подарок — так, пустяки. Я же ведь астраханец.

— А ведёшь себя как еврей.

— Ну, это вы зря... — пожурил я её.

Бабка стыдливо развела руки — мол, таков закон рынка. И даже пошла на уступки:

— Почти даром отдам.

Я сделал вид, что не обратил на её слова внимания, оплатил полную стоимость и поинтересовался:

— Не тяжело вам тут?

— Да ничего, терпимо, сынок, — махнула старуха рукой и зыркнула на сотрудников правопорядка. Хотела что-то сказать, да сдержалась. Вот и получается, что глухое недовольство большинства российских граждан никуда не делось, да и нищих никто никуда не девал. Просто все теперь стремятся любым способом заработать. Вряд ли жить стало легче, скорее уж — веселее. Без спасительного чувства юмора и креативных идей жизнь этой пенсионерки превратилась бы в унылую и скучную подёнщину. На причитания не остаётся лишнего времени. Приходится крутиться как «белка в колесе», чтобы дотянуть до очередной пенсии или зарплаты.

Пожелал я торговке долгих лет жизни и здоровья, а она в ответ, отшучиваясь, сказала, что на здоровье не жалуется, а вот мне, молодому, стоит о нём непременно задуматься.

— Уж больно шупленькие и убоги вы пошли. Одна кожа да кости, — сетовала она, заворачивая балык в промасленную газету и убирая её в двойной целлофановый пакет.

Уже отходя, из любопытства прислушался к пэпээсникам. Они, не замечая меня, говорили что-то о сложном историческом периоде, о том, что надо потерпеть и всё со временем образуется. Неужели они в это верят? Наше правительство постоянно продвигает подобные лозунги через средства массовой информации, а между тем статистика говорит о стремительном социальном расслоении, богатые становятся богаче, бедные — беднее. Соответственно одни ездят на дорогих машинах, а другие на морозе баюкают деревянный балык.

— В стране нет идеологии, нет высокой цели, — выхватил я отдельную фразу из их разговора.

Хотелось им возразить — мол, постойте, идеология есть — либеральная, но она распаивает двери любым мировоззрениям. Люди, находясь в плену греховных страстей и пороков, не сходятся во мнениях и скандалят, не понимая, что их нарочно стравливают. Неудивительно, что армия находится в упадке: нынче склоки в казармах — обычное дело.

Проходя мимо многочисленных киосков, я обратил внимание на витрину магазина игрушек с солдатами. Они бесстрашно взирали на меня с автоматами, сапёрными лопатами и флагами. Над пластмассовыми воинами на тонкой проволоке раскачивался вертолёт. По спине пробежал холодок. Мне сразу представился сбитый Ми-26. Огонь, крики о помощи и взрывы. А пока я летал в облаках, магазин стремительно заполнялся покупателями и теми, кто хотел хоть немного согреться. Народ, образовав коловорот, по второму, а кто уже и по третьему разу обходил прилавки и стеллажи. По другую сторону стеклянной витрины дети образовали кружок, где, оттирая друг дружку, рассматривали то, что лежало под желтым, как лимонад, стеклом.

Я подошёл ближе.

— Ты глянь, какие красавцы... Все в тебя, — толкнула меня в бок та самая пенсионерка, проталкиваясь в узкие двери магазина, — пойдём согреемся, не чувствуешь, мороз крепчает? Передавали, на Астрахань надвигается буря.

Увидев моё замешательство, торговка привычно махнула рукой.

Конечно, ей было невдомёк, какая бездна планомерно поглощала меня в клокочущий водоворот. Утягивала на самое дно к солдатам-призракам. И что самое странное — я этого не боялся и даже был чуточку рад. Солдаты... Я разглядывал их с дьявольским ликованием, приветствуя и чествуя их возвращение. Они выстроились как на параде и замерли, ожидая приказа. Я был для них командиром. Время остановилось, превратив тёмно-красные, почти бурые изваяния в ирреальную армию, неподвластную законам биологии.

Глядя на солдатиков, я вспомнил и о погибшем Щербатове. Его радушие, уверенный голос, воспоминания о доме — всё это состояло из живых фрагментов кинохроники. Они развевались над призраками в виде огромных красных полотнищ и отбрасывали на их окаменевшие лица кровавый оттенок. А выше полотнищ — одна пустота. Как странно... Сюда бы багряных облаков, которые часто висели над Ханкалой, Борзом, Владикавказом и... поездом.

Я вспомнил малыша, настойчиво пытавшегося сломать как раз такую же игрушку. А его мать, Татьяна Владимировна, с сожалением говорила: «...высшим чинам казалось, что с Чечнёй покончено. Крупные силы боевиков полегли в Грозном и Комсомольском. К тому же ваххабиты не контролировали ни один аул...» «Но воздушное пространство они контролировали», — подумал я с сожалением.

Вертолёт вдруг упал на солдатиков. От неожиданности я зажмурился. А когда открыл глаза, увидел продавца с ножницами, который торжественно передавал летучую игрушку краснощёкому мальчугану.

В подсвеченной разноцветными лампочками витрине отражался высокий худошавый мужчина в потрёпанном бушлате. Вид у него был немного растерянный. Неужели это я? Такой худой и напуганный, словно и впрямь узрел привидения. Только теперь я ощутил хлёсткие порывы ветра и снежную крупу, от которой видимость упала почти до нуля. Я поспешил за вином и продуктами — не хотелось являться домой с пустыми руками.

На заснеженной улице, словно ожидая именно меня, мигало габаритными огнями такси. Уложив приобретения на заднем сиденье, я сел впереди.

— Как удачно-то...

— И не говори, — согласился водитель, запуская двигатель. Он объехал по второстепенным дорогам транспортный затор, разминул с неисправным автобусом и въехал на мост, перекрытый грузовыми тяжеловесами. Не зная, как разрядить обстановку, водитель спросил:

— Где служил-то?

— В Чечне, — бросил я сумрачно и стал разглядывать фотографии на лобовом стекле. Среди фотокарточек с улыбочивыми загорелыми коллегами-водителями и дамами с пышными формами я заприметил одну — с женщиной, похожей на Таню. У меня ёкнуло сердце.

— Когда вы это снимали? — спросил я дрогнувшим голосом и интуитивно потянулся к снимку.

— А, этот кадр? В канун рождественских праздников. Я тогда «таксовал» в городе. Хотелось заработать немного, но погодка выдалась паршивой. Клиенты попрятались. Я даже подумал о продаже авто. Вышел из кафе с фотоаппаратом, чтобы сделать снимок для газетного объявления. А тут на горизонте она...

Водитель бросил на меня строгий взгляд.

— Ты её знаешь?

Мне потребовалось некоторое время, чтобы отойти от потрясения. Разыгравшееся у магазина изображение сыграло со мной злую шутку.

— Нет, похоже, обознался.

Вернув снимок на место, я попросил притормозить у девятиэтажного здания. Прежде чем уехать, водитель торопливо пересчитал хиленькую выручку, время от времени поглядывая на меня. А когда уже стал сдавать задом, вдруг тормазнул и, выйдя из машины, спросил:

— Это случайно не твоё?

В темноте мне показалось, он держит в руках пластмассовый вертолёт.

— Тут блокнот с ручкой. Не ты обронил?

Я поблагодарил его за внимательность. Затем с наслаждением выкурил последнюю, как сам себе сказал, сигарету и посмотрел вверх, на яркий фо-

нарь, похожий на заиндепевший лимон. На ум пришла строчка стихов:

...И всё терялось в снежной мгле,  
Седой и белой.

Подымаясь на четвёртый этаж, я долго не мог вспомнить автора. И только когда мне открыли родители, вдруг осенило:

— Пастернак, — вместо приветствия произнёс я.

— А мы думали Пушкин, — засмеялся отец, крепко пожимая мне руку.

### Точка

С момента возвращения из армии минуло чуть больше месяца. За это время я успел перенести тяжелое бремя воспоминаний на необремененные плечи. Почувствовать, наконец, лёгкость и невесомость. Впитать жизнь всеми внутренностями: лёгкими, бронхами, почками, каждой порой. В перерывах между длительными диалогами мы, не чокаясь, пили, будто я привёз с войны саму смерть. Поначалу так и относился к своим мыслям, отравляющим собеседников и меня самого, но потом пошёл на поправку. Во многом помогала Измайлова — она могла долго внимательно слушать, анализировать и давать ценные советы. Она являлась единственной надеждой на реабилитацию, потому что друзья, уверен, половину откровений пропускали мимо ушей. Мать с сестрой, едва в воздухе от слов начинало разить кровью и порохом, перебирались в соседние комнаты-клетушки и недоумевали, зачем я им это рассказываю. Они не хотели даже притрагиваться к тому, что я пропустил через сердце. Отец часто отшучивался, избегая обстоятельных разговоров, и вообще, вёл себя так, будто за словом «служил» ничего нет, кроме печати в военном билете, испачкавшей чернилами разлинованные страницы. «Что было, то было», — отмахивался он, перебирая зарисовки на лоджии, где обычно мог пребывать несколько суток подряд, пока не отступало вдохновение. Я пробежался глазами по этюдам и не нашёл ничего примечательного.

— Какие намерения, сынок? — Фраза повисла в воздухе и замкнулась в четырёх стенах лоджии, где она с трудом и родилась.

— Да пока никаких.

А ведь и вправду, конкретных планов я не строил. Жил в своё удовольствие, разве что остро реагировал на непростое положение в стране. Несколько раз ходил на демонстрации, собирался даже устроить одиночный пикет, чтобы заполучить причитающиеся ветеранские льготы. Отец, подспудно чувствуя, что добром это не кончится, заявил:

— Так не пойдет. Берись за ум и ищи работу. Безделье рано или поздно приведет к плачевным результатам.

— С чего ты решил?

— А ты пройди по городу и посмотри. Всё вокруг дорожает. Назревает очередной финансовый коллапс. Молодёжь совсем обленилась. Не хотят работать — только на шее у родителей сидеть и ножками дрыгать — в точности как твои старшие дружки.

— Пап, не трогай их. Они же еле живыми вернулись из армии.

— И что? Руки-ноги остались? Пускай идут, работают, а не пьют во дворе. Сколько раз тебя с ними видел. Ох, чует моё сердце, по кривой дорожке пойдёшь.

— Мы просто говорили о службе.

— А Измайлова уже не выносит откровений? Всё — перекармил девчонку страшилками? — И уже более миролюбиво: — Пойми, я хочу тебе только добра. И в первую очередь, устроить на нормальную работу. Поговорить со своими знакомыми? У них есть «тёпленькое» местечко.

— А как же ребята? Можно я с ними увижусь?

— Но только в последний раз. Учти, у тебя свадьба на носу. Так что ставь на армии точку, и чем быстрее, тем лучше.

С этого момента у меня началась другая жизнь. Не сказать, что удалось сразу вытравить пессимизм, нет, он остался и даже укрепил позиции, но как такового влияния не оказывал по причине отсутствия свободного времени. Отец устроил в небольшую фирму к знакомому. У неё было длинное и непонятное название. Основной профиль заключался в установке, ремонте и обслуживании спутникового оборудования. Мы проводили интернет и телевидение, устанавливали ветряные генераторы, называемые в шутку «ветряными мельницами». А ещё лазили по крышам, как Карлсон из одноимённого мультфильма. Новые впечатления помогали поставить ту самую точку, о которой не уставал повторять мне отец.

После обучения и стажировки первый же выезд порадовал свежими эмоциями и, хотя и незначительным, адреналином. Всей бригадой из трёх человек бодро, по-армейски, выгрузились из машины и, оглядев безрадостные окрестности, прошмыгнули в строение, которое доживало последние дни. В полу имелись провалы, заделанные грязным тряпьем. Все коммуникации сгнили. Электропроводка в подъезде искрила. Поэтому, когда поднимались на второй этаж, старались держаться на расстоянии вытянутой руки. На обледелой лестничной площадке встретила местная жительница — тётя Валя, ровесница дома.

— Вы часом не электромонтёры? — спросила она, исковеркав последнее слово беззубым ртом. Получилось что-то вроде «шлемотёров».

— Нет, бабушка. Кто-то из ваших жильцов заказал установку спутникового оборудования, — энергично ответил напарник с распечатками документов. — Тут неразборчиво... Какая-то Демичева, что ли... — проговорил он, пробежав глазами по мелким, плохо отпечатанным строчкам.

— Батюшки! Да кто же у нас тут ворочает такими деньжищами? — всплеснула руками старуха и подождала мальчонку в застиранных трико и огромных, наверняка отцовских, размочаленных тапках. — Иди, позови Марью, внучку Георгия — нашего орденосца. Вот её угораздило — кругом разруха, того и гляди рухнет прямо в подвал, а она чего удумала? С космосом связь устанавливать? Срам какой, простите господа...

— Не волнуйтесь, — вступил в разговор высокий бородатый Юра Пархоменко — наш непосредственный начальник и основатель фирмы. — Теперь у них будет около ста телевизионных каналов. Смогут смотреть познавательные передачи, мультфильмы, новости...

— Вот и запудрят им мозги всякие шельмы, — ворчливо оборвала начальника бабка, посмотрев грозно на растерянного фирмача, — в стране бардак, а людям что? Каналы с брехнёй предлагают. Лишь бы отвлечь от того, что творится вокруг!

Вопреки ожиданиям вместо внучки мы увидели самого пенсионера с шапкой седых редких волос. На плечах у него держался застиранный пиджак с медалями и орденами. Наград было так много, что я ненароком присвистнул.

— О, добре, добре, хлопцы, шо прибыли — прощамкал Георгий. И, воззрившись на старуху, укорил: — Ты чего ж не привечаешь гостей? По моей просьбе Марья их позвала.

Бабка выкатила глаза, не зная, что и сказать.

— Стар уже я. Не выхожу нынче. Всё сижу, как в окопе.

Георгий невольно напомнил мне моего родного дедушку. Где он сейчас? Дома с бабушкой болеет, наверное. Старенький он, хотя держится молодцом. Когда я после увольнения в запас к нему приходил, он смотрел на меня с укором, всё не мог понять, зачем и за что я воевал. А я ему: «Не воевал. Мыкался как неприкаянный по госпиталям». А он — сразу в слёзы. Говорил: «Зря тебя послали, сынок, в самое пекло, слабеньким ты уродился, постоянно болел. А им, извергам, лишь бы прорехи в рядах будущих мертвецов завалить». Растрогали меня тогда слова деда, почувствовал, что правда в них есть. И теперь, когда наши взгляды с Георгием встретились, промелькнула между нами искра взаимопонимания.

Упрятав под брови глаза, орденосец умолк и на все вопросы Пархоменко, таинственным образом улику из-под бдительного ока военкома, подчёркнуто не отвечал.

— Так, я всё понял, это надолго, — вздохнул уставший начальник и обратился ко мне, — разведай, где тут чердак, и, как найдёшь, свистни. Маслов подтянет инструменты и антенну.

Из-за отсутствия света пробираться приходилось на ощупь, словно по минному полю. Линолеум на стыках топорщился, а шляпки гвоздей впились в подошвы рабочих ботинок. Взяв за ориентир высокую балконную дверь, поделённую на равные засте-

клённые квадраты, я направился к свету редких звёзд и луны — неизменного ночного светила. Сделав всего несколько шагов, я споткнулся и едва не упал, повиснув на лестнице. Электродрель с глухим ударом повалилась на пол, а кабель, разматавшись, словно змея, любовно обвил руки. Сбрасывая жёсткие белые кольца, я непроизвольно чертыхнулся. Отыскав дрель, осторожно поднялся с ней на чердак.

— Ну что, нашёл? — послышался нервный голос напарника.

Вместе с ним мы за считанные минуты прикрепили спутниковую тарелку возле печной трубы. Отрегулировав, спустили кабель в окно второго этажа, где Пархоменко, расчехлив ресивер — небольшую коробку, похожую на DVD-плеер, подключил её к телевизору и теперь ждал, когда мы закончим основные работы.

— Спускайтесь! — крикнул начальник из распахнутого окна и постучал по водосточной трубе.

— Сейчас! — отреагировал Маслов, собирая инструмент в пластиковый ящик. — Доделаешь, а я — к шефу.

Ночь ещё не вступила в права, а миллионы небесных светил усыпали небосклон. Они загадочно перемигивались, притягивая к себе взгляд. Хотелось дойти до края крыши и протянуть к ним руки, почувствовав радостное возбуждение. Звёзды... Что-то было в их далёком свете, что-то знакомое на подсознательном уровне. Может, все мы — бывшие жители далёких планет? С другой атмосферой, природой и формой жизни...

Порывы морозного ветра понесли стайки снега, вихрем преображая его в облако из мелких крупинок. Задышавшись от жгучего прикосновения непривычно холодной весны, я работал с удвоенным усердием.

Неожиданно зазвонил сотовый телефон.

— Слушай, тут такое дело... — Голос Измайловой дрожал. — Я заходила к тебе, узнала случайно...

— Не томи, Вика. Говори, что случилось!

— Твой дедушка умер.

С минуту я пребывал в прострации. Перед мысленным взором пронёсся Георгий. Затем резко возник Николай. Мой дедушка по-прежнему слушал истории о службе в Чечне, и они не только печалили его, но и пускали гулять по бороздам морщин мелкие, как бусинки, слезинки. После того как она повесила трубку, я почувствовал себя опустошённым. Ни боли, ни сожаления, ни тоски я не испытывал в силу того, что не мог осознать услышанное, переварить и уже потом на это как-то реагировать.

Спускаясь с Масловым по ветхой деревянной лестнице, я поинтересовался насчёт выходных. Предстояли похороны и связанные с ними заботы.

— ...отменяются, — с грустью ответил Маслов. — Завтра едем с тобой, Пархоменко и Васиным в сторону Казахстана собирать мельницу. Месяца на чётуре — как минимум.

Когда тронулись в путь, я с любопытством оглядел дом, на крыше которого провёл битый час. Спут-

никовая тарелка гордо устремилась на юг, выделяясь на фоне рослых заснеженных деревьев у серых каменных стен. Рядом примостились гаражи, похожие в сумерках на грибы, взявшие в оцепление одинокую постройку. Чудилось, что она кривеет и того и гляди рухнет, на прощание боднув небо антенной.

Пархоменко старался выжать из газели всё возможное, сокращая путь через разбитые дороги. В прохладном, чистом воздухе хаотично задвигались лучи ярких фар — на ухабах раскачивало, заставляя водителя на ощупь искать колею.

— Ты с кем на крыше балакал? — спросил, не отрываясь от дороги, Пархоменко.

— Со своей пассией, — объяснил я и запахнул воротник тёплой рабочей куртки, от которой всё ещё пахло чердачной прелью.

— Ты ещё и по телефону успеваешь трепаться? Тогда тебе завтра не отвертеться.

— Не выйдет. У меня умер дедушка-фронтовик.

\* \* \*

Бессонная ночь длилась целую вечность. Монтируя фрагменты воспоминаний, я старался склеить правильную, честную историю деда. Но отвлекаясь на слова бабушки — я ей после работы звонил, — не выходило ничего путного. Утро началось с признания.

— Знаешь, сынок, я всё время, пока ты был в армии, рисовал отца молодым на фоне окопов, используя старую фотографию. Символично, что как только я положил последние краски, его жизнь оборвалась. Он, конечно, давно жаловался на здоровье, но что-то его особенно подкосило. Может, твои откровения о службе? — Он с вызовом посмотрел в мою сторону и выдержал паузу: — Ладно, не хочешь отвечать — не надо. Можешь пойти оценить. Это единственное полотно, где я использовал масло.

В школе, куда нас с Викой не хотели пускать, было необычайно просторно и тихо. В кабинете отца, переоборудованном под художественную мастерскую, пахло бумагой и красками. Стены покрывал внушительный пёстрый ковёр ранних отцовских работ.

— Где же твой дедушка? — спросила Виктория.

Я указал на парнишку с тонкими усиками и ясными глазами. На картине кроме него двенадцать вооружённых автоматами храбрецов: смурной, на что-то явно обиженный сержант, улыбочивые рядовые и офицер с хитринкой в глазах. Ровно за год до окончания войны их закидали гранатами немцы. Выжил только мой дедушка.

Среди бумаг я отыскал фотографию. Под снимком значилась памятная дата — май 1944-го. Дедушка привёз с собой многочисленные медали и эту памятную, порывевшую от времени фотографию. Много лет она хранилась у нас дома. И я, бывало, ещё несмыслённым мальчишкой подходил к отцу, выпрашивая дембельский альбом деда, очень, кстати, похожий на мой армейский блокнот; наугад от-

крывал и рассматривал рисунки, наскоро сделанные во время войны, и всё пытался понять то, о чём мой дедушка говорил между строк. Теперь, после суровых армейских испытаний, на многие истины у меня открылись глаза. Теряя верных и преданных друзей, дед сражался за Родину не напрасно, потому что бился с заклятыми врагами — фашистами за каждый дом, улицу, да что там говорить — даже за самый незначительный клочок земли. И в конце концов победил, он вернулся с Победой. А с чем домой пожаловал я?

На этот вопрос не существовало ответа. И даже если бы кто-нибудь нашёлся что заявить, я бы не принял его слов, потому что нас наверняка разделила бы пропасть в виде чертовски несправедливой войны.

\* \* \*

Накануне 23 февраля пришла открытка. Последний раз я принимал почтовые послания под Новый год, когда был совсем юн. Теперь же, увидев пёструю картонку в почтовом ящике, подумал о розыгрыше, о том, что она предназначена не мне. Но фамилия и инициалы были мои. «Кто же обо мне вспомнил? Габулов? Фурманов? Наверняка Артамонов!» Сразу же насторожили корявые и почему-то печатные буквы:

«Миша, брат, здравствуй! Я — живой. Только руке досталось. А если бы осколок не застрял в твоём блокноте, то... Мишка, прошу, напиши обо всём, что мы пережили, напиши, чтобы знали — мы выжили, а значит, и победили.

Щербатов».

2017–2018 гг.

Андрей САВЕЛЬЕВ

## «ИЗ КАДЕТОВ В «ДИВЕРСАНТЫ»

*Главы из книги*

**Майдан**

В разгар революции мы с атаманом «Верного казачества» Алексеем Селивановым однажды провернули микродиверсию. Украинствующие повесили на шею памятника Ярославу Мудрому, который стоит на Золотых воротах, европейский флаг.

Атаман, проезжая, увидел это и позвонил мне. Он знал, какое у меня рвение и энтузиазм, особенно к срыву флагов. До этого я ему просто рассказывал, как, гуляя с другом на знаменитой киевской Петровке (рынок), сорвал флаг США, висевший на одном из контейнеро-магазинов местной барахолки.

Тогда продавцы из этого контейнера неизвестно зачем вывешивали его на время торговли. Меня он

крайне бесил. И я, зайдя с тыльной стороны рынка, перелез через забор с колючей проволокой и сорвал мозоливший глаз флаг Штатов. А друг записал мой перформанс на видео и выложил в интернет. После этого, я думаю, даже если бы захотел поехать когда-нибудь в Америку, меня бы не пустили.

Зная мою безбашенность, атаман позвонил мне и предложил повторить. Я через часик подъехал, оценил масштаб работы и полез на памятник. На улице уже темнело, но людей вокруг оказалось немало. Не знаю, были ли среди них «евроинтеграторы», но, когда я, натянув бандану на лицо, взобрался на Ярослава Мудрого и демонстративно срезал складным ножиком европейскую тряпочку, никто не рыпнулся меня останавливать. Атаман весь процесс зафиксировал на видео и даже тот момент, где я, спрыгнув с памятника, подхожу к нему и говорю: «Украина не колония ЕС».

Нам нужно было вернуться обратно в Семёновку, где всё ещё продолжался бой. Но на обратном пути Моторола поставил Вохе и мне задачу привезти на передовую ребятам гранаты для СПГ (станкового противотанкового гранатомёта). Мы заехали в СБУ и забрали несколько СПГшных гранат. В придачу нам ещё погрузили в машину ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс).

Со всем этим взрывоопасным добром мы помчались обратно в бой. Когда мы подъезжали к перекрёстку, у меня появилось неприятное предчувствие. Я не сильно верю во все эти интуитивные штучки, но тогда у меня хорошо запечатлелась в памяти нарастающая тревога. Причём она появилась не из-за того, что мы подъезжали к обстреливаемой Семёновке. У меня как будто онемело всё лицо, я ехал и где-то глубоко в голове «пульсировала» мысль — смерть очень близко, ближе, чем когда-либо, ближе, чем ты думаешь.

Перед поворотом на трассу Харьков — Ростов с прямой танковой наводкой, Воха достал рацию и вызвал Моторолу. Вдруг я вспомнил, что велика вероятность прослушки наших радиостанций и ничего лишнего в этот момент сказать нельзя. И тут Воха говорит Мотороле:

— Готовьтесь, везём вам «игрушку», уже подъезжаем.

Естественно, под словом «игрушка» подразумевалось какое-либо оружие, в нашем случае — гранаты для СПГ. Вполне возможно, что укры могли услышать это сообщение и среагировать на него.

Доставить оружие на передок мы могли несколькими способами. Например, проехать на большой скорости простреливаемую дорогу и через посёлок уже добраться к ребятам. Но Воха решил, что объезжать долго, а времени у нас нет, поэтому повернул из Славянска на трассу Харьков — Ростов и дал по газам. Это та же дорога, на которой стояли укрские танки и БТРы. До них было меньше километра. Буквально полминуты нам было нужно проехать по этой дороге, чтобы повернуть в посёлок и спрятать

машину за домами. Но я всем телом почувствовал, что времени этого у нас нет. Вдалеке виднелся резервный танк, который не участвовал активно в бою, а просто периодически долбил по нашим позициям. Я ни капли не сомневался, что танк выстрелит. И он выстрелил.

Выстрел! Кто когда-нибудь его слышал — уже ни с чем не перепутает: ни с залпом миномётов, ни с разрывом снаряда. Хотя на улице светило солнце, но вспышка казалась очень яркой. То ли в этот момент, то ли за секунду до неё Воха плавно вывернул руль вправо, как будто собираясь выехать с дороги на обочину. Мне показалось, что время замедлилось. Всё происходило плавно и постепенно. Со мной случилось то, что называют «вся жизнь перед глазами промелькнула». Во рту мгновенно пересохло. Глядя на Воху, можно было сказать то же самое.

Танковый снаряд пролетел слева от машины и разорвался в «Околице» — одном из ларьков на семёновском перекрёстке. Воха ехал с опущенными окнами, и после выстрела мне на мгновение показалось, что пролетающий снаряд обдал нас тёплым воздухом. Позже, когда я спросил Воху про его ощущения, он ответил, что чувствовал то же самое.

Конечно, возможно, мы себе всё это придумали — и про воздух, и про то, что если бы Воха немного не повернул машину вправо, то снаряд точно бы в нас попал. Но одинаковые ощущения были у нас обоих.

После выстрела, который застал нас где-то на середине дороги, до поворота мы ехали с «мёртвыми» лицами. Каждый из нас осознавал, насколько он близок к гибели, тем более что в машине мы везли столько взрывоопасного вооружения, что любой трассер в лобовое стекло — и мы взлетели бы на воздух.

Несмотря на ошарашенность, я пытался отсчитать после вспышки в уме восемь секунд, за которые мы должны успеть повернуть вправо и укрыться в посёлке. Иначе танк успел бы перезарядить пушку, и тогда он бы не промахнулся. То ли из фильма, то ли кто-то из опытных бойцов мне до этого говорил, что для перезарядки танку между выстрелами необходимо восемь секунд.

Воха в свои двадцать с копейками с машиной обрашался так, будто бы она была продолжением его тела. Он не только интуитивно повернул машину вправо перед предполагаемым выстрелом, но и смог буквально за четыре секунды свернуть на большой скорости в канаву, не перевернуться и заехать в посёлок.

Мы были спасены от участи прямого танкового расстрела. Но не успел я досчитать и до семи секунд, выстрел всё же раздался. Как я позже узнал, скорость механизма заряжания зависит от модификации самого танка или пушки. Поэтому восемь секунд — это не устойчивое правило, танк может весь конвейер — 28 снарядов — за минуту выпустить.

Для танкиста, видимо, нас убить было делом чести. Снаряд попал в дом, за которым мы успели оста-

новить машину, несколько обломков кирпичей упало нам на крышу. Мы живо достали ПЗРК с выстрелами от СПГ и побежали на позиции...

Последний час, но хочется, чтоб крайний...

Когда мы в очередной раз возвращались из Славянска на мясокомбинат, чтобы наконец-то поесть, мне позвонил Крот (командир роты в поселок Семёновка):

— Быстро ко мне приезжайте. Где вас носит так долго? — негодовал он.

А мы в этих разъездах с Артистом (ополченец, водитель КАМАЗа) и забыли, что катаемся на его «Ниве». Пришлось опять миновать колбасный цех с Ташкентом (ополченец) и поехать к Кроту. Когда мы были у него на позициях, часы показывали 23:20.

У Крота мы застали такой же нездоровый движняк, как и в городе. И когда мы его еле нашли в темноте, он нам объяснил:

— Два с половиной часа назад всем бойцам Семёновки поступил приказ собрать все свои вещи, взять вооружение, какое есть в наличии, и до полуночи покинуть позиции. Приказ отдан самим Стрелковым.

В это время мы с Артистом как раз возвращались из города и даже не подозревали о такой участи своего гарнизона. У нас, получается, оставалось всего сорок минут.

Далее привожу воспоминания Крота примерно того же момента:

«О нашем отходе я узнал примерно за 12 часов. То есть, где-то в 12 часов дня. Кэп (командир Семёновского гарнизона) приехал на наши позиции и сообщил, что мы сегодня оставляем Славянск. Доложить личному составу я мог только за три часа — такой приказ.

Каждому подразделению предписано покидать свои позиции в определённое время. Мне было приказано уводить свой взвод ровно в полночь. Место сбора определили на Черевковке, именно туда стекались все подразделения Семёновского гарнизона. Всё было хорошо спланировано, казалось, что стоит только командирам групп чётко следовать инструкциям из штаба Стрелкова, и наш выход пройдёт отлично.

Подразделениям, которые занимали оборону на передовых рубежах, пришлось оставить на местах по несколько человек со стрелковым вооружением для имитации нашего присутствия. Они должны были всю ночь вяло постреливать в сторону позиций ВСУ и утром самостоятельно выбираться оттуда. Нужно сказать, что когда на следующий день украинские подразделения занимали пустой Славянск, эти оставленные люди находились в городе и пригородах. Им, наверное, было уже поздно отходить, и, по слухам, они ещё некоторое время наносили точечные удары по противнику.

Ровно в полночь я со своими бойцами приготовился начать движение в сторону Черевковки. Мою служебную «Ниву» нагрузили тяжёлым вооружением, остальное несли в руках. Тут вспомнили, что

трассу, по которой мы должны были немного пройти до поворота на Черевковку, минировал наш сапёр, который впоследствии погиб. И схема расположения мин известна только ему. Решили идти в обход по полю через посёлок Сулимовка».

После того как Крот нам довёл информацию, мы быстро сели в уазик и попытались его завести. Он завёлся. Надежда на то, что он в этот раз не подведёт, теплилась в наших душах. Чтобы вернуться на мясокомбинат, собрать вещи и выйти, у нас уже оставалось не более получаса.

Артист выехал на мясокомбинат, но по дороге на месте поворота на спуск к посёлку мы попали под обстрел осветительными минами. Прямо над нашим УАЗом вспыхнул яркий свет, и ночная тьма превратилась в безоблачный день. Мы на «таблетке» среди ночи оказались видны украм и поэтому уязвимы. Они в оптику могли чётко увидеть, что едет военный транспорт, да и транспорт наш они давно выучили. Но опытный водитель понял, что надо менять траекторию, и резко свернул в ближайшие чигири. Ветки и листья посыпались в кабину через открытое окно. За пару секунд мы оказались полностью скрыты за деревьями и кустами.

Но вражеские артиллеристы уже успели навесить и шмальнуть средним калибром по тому месту, где нас застала «люстра» (осветительный снаряд). Попали довольно точно — несколько осколков застучали по задней двери машины скорой помощи. Минут семь они продолжали кидать осветительные и осколочно-фугасные мины по нам, стараясь уничтожить, но Бог миловал. Косая натура укропов никуда не делась. Стрелять они научились лучше, а попадать не научились.

Когда всё поутихло, Артист со скрипом выехал из зелёнки и продолжил движение. Через пару минут он домчал до нашего колбасного цеха. Выбежав, мы наткнулись на удивлённого Ташкента.

— Ничего не спрашивай. Быстро собирай свои вещи, через двадцать минут уходим, — крикнул на бегу Артист

— Куда? — только успел спросить Ташкент.

— Не куда, а откуда. Куда — мы ещё не знаем, — пытался объяснить Артист.

— Всё, Семёновку оставляем, — добавил я.

Ташкент замешкался:

— А как же мясо? А на кого оставим всё это?

— Не о том ты думаешь, Марфа, — вспомнил я в очередной раз цитату из Евангелия, — тут о живых надо думать, а не о мёртвых, — говорю ему, имея в виду мясо.

Ташкент был хозяйственным мужиком, поэтому мог спокойно остаться в окружении вооружённых до зубов укров, только бы мясо не пропало. Но времена требовали перемен...

Снарядились мы довольно быстро, так как у нас рюкзаки и вещмешки практически всегда в собранном состоянии. Снаружи лежало только самое необходимое.



Не могли мы забрать с собой только наших собак. Жаль, что они достались укропам. Мы не знали, наведаются ли на мясокомбинат местные, поэтому хорошо покормили их перед выходом.

Артист завёл УАЗ, и мы поехали в сторону позиций Крота, чтобы в дальнейшем вместе с его группой отходить. Но тут прибежал посыльный от Кэпа и сказал, чтобы мы вернулись к «бункеру» и поступили в распоряжение Кедр. Он как раз собирал там своих бойцов перед выходом.

Пользоваться рациями ещё до объявления о выходе запретили. Командир Славянского гарнизона Игорь Иванович Стрелков на собрании 4 июля всем ключевым командирам довёл распоряжение о выходе, а они в свою очередь должны лично передать нижестоящему командованию и каждому бойцу. Ни рациями, ни телефонами пользоваться было уже нельзя. Нельзя допустить утечки информации. Чтобы не провалить всю операцию, даже предупредили всех бойцов за несколько часов до выхода. То есть, в Славянске собираться тыловики начали ещё раньше, но только единицы знали, зачем. А некоторые боевые подразделения, прикрывавшие Славянск, узнали о выходе за час, тогда, когда весь командный, тыловый и штабной состав уже находился в пути.

...В Славянске, в районе Артёма, ополченцы держали свою рембазу, которая называлась «Лимузин». То есть не так. Почти все автослесари, механики этого СТО вступили в ополчение. А так как кроме стрелков нужны были и специалисты разных отраслей, то людей с необходимыми профессиями для нормального функционирования Славянского гарнизона вооружали инструментом, а не АК.

С горем пополам мы доехали на рембазу «Лимузин». Нас там встретил знакомый ополченец из Каховки (населённый пункт на Украине) с позывным Каховка. Ребята там мастера на все руки, поэтому довольно быстро нашли проблему в нашем УАЗе — как и говорил Артист, засорился бензонасос.

Сервис «Лимузина» был на высоте — пока парни бесплатно чинили уазик, девушка нам сделала кофе. Мы вышли с ним на улицу. День выдался солнечным, поэтому решили найти тенёк и там присесть, чтобы спокойно его попить. «Лимузин» находился в центре города, рядом стояли десятки жилых домов. Ничто не предвещало беды. Но как только мы присели на бровку и отпили горячий кофе, раздался взрыв. Залпа никто не слышал, всё произошло очень быстро и неожиданно. Когда первый снаряд прилетел в крышу СТО, я как раз подносил пластмассовый стаканчик с горячим напитком ко рту. От неожиданности я дёрнул рукой и пролил всё содержимое на себя. Горячий кофе я прочувствовал всем телом, и это придало мне сил для дальнейшего рывка. Следующие мины падали прямо на машины неподалёку от нас.

Все сотрудники успели укрыться в смотровых ямах СТО, но мы поняли, что просто не добежим туда. Слишком далеко и рискованно. Без единого

слова мы приняли с Артистом решение ползти к гаражам. Они ближе, но менее надёжны. Когда мы легли головой друг к другу в проёме между ними, то поняли, что попали в местный туалет. Все хоть раз в жизни ходили «за гаражи». А нам пришлось там лежать. Но тогда об этом мыслей не было. Бомбёжка оказалась настолько сильной и прицельной, что нам сразу стало ясно — укропы специально пытаются раздолбить рембазу, а заодно и близлежащие жилые дома. Мины падали везде. Мне казалось, что я впервые попал под такой массированный обстрел. По крайней мере, в самом эпицентре я ещё не был. От громких разрывов мы буквально зарывались лицом в землю. Хотелось максимально вжаться туда и стать меньше. Укры попали в один из гаражей, за которым мы прятались. Осколки пробиты тонкие стены и попытались пробить следующий. Те, что побольше, — пробиты, а небольшие от ricocheted и посыпались нам на головы. Я молился Богородице. В ушах звенело и чувствовалось давление внутри черепа. Под конец бомбёжки мне казалось, что это мои последние минуты. Я уже даже смирился, подумал: до этого проносило, но сейчас пришло время.

Бомбёжка была настолько сильной, что казалось, не выживет никто. Она закончилась так же внезапно, как и началась. Я поднялся вслед за Артистом и оглянулся. В сантиметрах двадцати над нашими головами зияли большие и маленькие дырки от осколков. Как же всё-таки важно во время артналётов понижать проекцию тела, подумал я.

Вокруг горели автомобили. На рембазе их было много, загорелось около пяти. Я сначала крикнул: «Раненые есть?» В ответ послышалось: «Нет!» Ребята стали осторожно выходить на улицу, но далеко от своих прежних «схронов» не отходили — знали, что обстрел мог возобновиться в любую минуту. Во время бомбёжки несколько машин успели взорваться, а остальные догорали. Была опасность, что взорвётся ещё какой-нибудь автомобиль и подожжёт остальные. Ребята из СТО нашли три или четыре огнетушителя и принялись тушить. Я взял крайний баллон и тоже поливал пеной пламя внутри машин. За несколько минут мы практически все большие возгорания локализовали. И только потом осознали, как нам крупно повезло, что ни одна из машин не взлетела на воздух, пока мы рядом её тушили...

### Гибель Ромашки

Михаил Лермонтов в своём известном романе «Герой нашего времени» написал про некую «печать смерти». Главный герой Григорий Печорин держал пари с одним сербом, что смерть человека происходит случайным образом, а не заранее предопределена свыше. Тогда серб Вулич приставил к виску пистолет и сказал, что если ему смерть написана на небесах в данный момент, то пистолет выстрелит. Печорин рассказывает, как увидел на его лице отпеча-

ток неизбежной судьбы, неминуемой скорой смерти. Он предостерег серба, что тот непременно сегодня умрёт. Пистолет всё же дал осечку, но буквально через полчаса после пари Вулича зарезал пьяный казак на улице.

Я не верю ни в какие предопределения, потому что каждому из нас Богом дана воля, свобода выбора. Но незадолго до смерти человека вокруг него происходит что-то неотвратимое. Это может проявляться в поведении, голосе, во внешнем виде, в мимике лица и даже в запахе. Такие особенности замечали многие из моего окружения на войне, в том числе я.

Перед отъездом на Донбасс Ромашка решил отправить жену из Крыма к своей маме в Луганскую область. Я в это время постоянно находился с ним, мы жили в одной квартире. И с женой его Леной я хорошо подружился.

Сергей Журиков познакомился с Леной в Киево-Печерской Лавре за несколько лет до всех событий на Украине. Лена там работала в церковной лавке. Детей у них не было, зато любили друг друга по-настоящему и даже успели повенчаться.

Ромашка повёз Лену на вокзал и взял меня с собой. Они всё время общались, потому что разлука обещала быть долгой. Сергей говорил, что мы поедём в опасное место, поэтому там не место женщинам. Вдруг он резко затормозил, дёрнул руль, и мы врезались в машину. Виновником ДТП оказался Сергей, потому что невнимательно ехал и не держал дистанцию. Так как мы спешили посадить Лену на поезд, то Ромашка с ходу заплатил второму участнику столкновения \$100 и помчался дальше к вокзалу. У нас только разбилась спереди фара.

Это первый момент, который меня удивил, тогда я вспомнил теорию серба из книги Лермонтова. Ромашка водил машину большую часть жизни, перед ДТП не превышал скорость, никто резко не тормозил, а случилось такое глупое столкновение. Он как будто ушёл из реальности на мгновение, увидел то, что никто не видит — такое выражение лица у него тогда было. Поэтому он и врезался во впереди стоящий автомобиль.

Когда Лену провожали из Крыма, Ромашка прощался с ней больше часа. Сначала волна сентиментальности окатила его жену. Она долго плакала, обнимала и целовала мужа. Так прощалась, как будто уезжает навечно. В первые минуты Сергей отшучивался и улыбался на её слёзы, а потом прижал Лену к груди и долго-долго не отпускал. Даже когда приехал поезд, Лена никак не могла уйти. Она всё время возвращалась к мужу и плакала. Она просила отменить поездку, хотела, чтобы он взял её с собой, но это было невозможно. Ромашка держал её руку и утирал слёзы даже тогда, когда поезд начал трогаться. Лена уехала.

Я примерно понимал их любовные чувства, но тогда мне казалось, что прощание затянулось. Да и сам командир слишком странно «распускал сопли».

В тот момент ни я, ни он, ни его жена даже представить не могли, что прощались они навсегда.

2 мая 2014 года в окрестностях Славянска предпринята попытка штурма города. Во время этого боя был убит Ромашка.

В этот день пришёл Медведь и сказал, что Ромашки больше нет. Несколько часов никто не знал, по какой причине его не стало. Я верил в то, что произошла ошибка. Это первая смерть близкого мне человека на войне — гибель командира.

До госпереворота Ромашка жил в Киеве. Очень любил путешествовать и объездил весь мир. Прошёл войну в Чечне, служил в украинской «Альфе» ещё задолго до Майдана, но всегда считал себя русским и православным человеком. Даже пономарил какое-то время в алтаре одного из храмов. В Киеве профессионально занимался фотографией, а также парашютным спортом. Сергей Журиков совершил более 1600 прыжков, в том числе фрифлай.

Ромашка ещё в Крыму меня полюбил. Однажды снял с себя броник скрытого ношения третьего класса и надел на меня.

— Никогда теперь его не снимай, даже когда спишь, — сказал он мне.

Как командира его все уважали и любили, потому что личный состав он берег и бездумно не отдавал приказы.

После шокирующей новости о его гибели в отряде Стрелкова повисла какая-то удивлённость. Никто не мог поверить в случившееся не потому, что среди ополчения не было смертей, а, наверное, потому что Ромашка не попадал под категорию людей, способных просто так умереть. Ромашка мыслил не так, как другие.

Риск и опасность для него были смыслом жизни. Но не напрасный риск, как у многих. Риск во имя высшей справедливости. Ещё чеченская кампания в нём воспитала воина, а последующую жизнь он расценивал как поле боя.

Таких русских пассионариев, как он, не так уж много. Его гибель стала огромной утратой не только для его подчинённых и близких, но и для всей России. Потому что он защищал Русский мир.

После его гибели жена приехала в Славянск и присутствовала на отпевании. А потом увезла его, чтобы похоронить.

Начмед Славянска Лёля так вспоминает известие о гибели её боевого товарища:

«День был странным и оттого страшным. Ещё ранним утром, когда никто не знал, сколько боли принесёт этот день, кофе не лез в горло. Хотя знала, что без него в пять утра глаза просто не откроются, а надо! Потом всё началось.

В какой-то момент всё понеслось, как снежный ком, и из-за этого стало не по себе. Рысь притащил раненого пилота ВСУ, и все мы долго удивлялись и переживали, что его бросили свои.

Потом начался бой где-то под Славянском, много раненых. Уже днём, пытаясь перевести дух перед

общением с командиром, увидела идущего быстрым шагом Ромашку. Я ему сказала:

— Товарищ Ромашка, мы когда поедem к стома-тологу? Ты же обещал! Ты же есть не можешь!

Он повернулся и смотрел на меня долго-долго. Потом ответил:

— Лёля, вот сегодня вернусь, и завтра поедem. Обещаю!

— Ну, ты хоть полоскать не забывай, — проворчала я, прикрывая глаза.

И всё, провал. А через два часа звонок от Вандала:

— Лёля, у нас двухсотый. Ромашка.

Я долго пыталась понять, что он говорит. Потом села в машину и поехала в исполком. Меня не пустили в кабинет, так как Ромашку уже отпевал батюшка. А я так орала, что ничего не было слышно. Именно тогда я впервые заплакала. Горько, с причитаниями на плече у Урала, как маленькая. А вечером мы узнали о том, что случилось в Одессе. Вот именно тогда, в тот день, и началась для меня война».

После гибели Ромашки наша группа перешла под командование Медведя.

Уже в России, после Славянской эпопеи, я продолжил тесно общаться с его женой, помогать ей, а она мне. У неё сохранилось много вещей мужа, и так как тогда я вернулся с Донбасса ещё 16-летним подростком без денег и работы, некоторые вещи она передала мне. Я до сих пор ношу водолазку погибшего Ромашки, вспоминая его, несмотря на то, что в народе есть суеверие по этому поводу.

В середине мая 2014 года поэт Иван Белокрылов написал о Ромашке стихотворение:

#### БАЛЛАДА О ПОНОМАРЕ

Полстраны накрыла чёрная хмарь,  
Гонит с севера пожаров волну...  
Как случилось, расскажи, Пономарь,  
Что ты взял да и ушёл на войну?

Сколько в Сумах посходило с ума,  
Чтобы пропасть между близкими рыть?  
Киев пал, под Черниговом тьма,  
И во тьме нельзя про тьму говорить...

Осторожно положил свой стихарь  
И затеплил у иконы свечу,  
И раскрыл тогда Господь свой букварь,  
Показал Он, что тебе по плечу...

Мы помянем тебя не раз...  
Мы сгоревшие отстроим дома...  
Посмотри, Сергей, с неба на нас —  
Видишь, в Славянске рассеялась тьма...

Знают все, когда ты пал, Пономарь,  
И уже не поднимался с земли —  
Ты пошёл тропой небесной, как встарь  
С Куликова поля иноки шли...

Там Ослябя ныне и Пересвет  
Горних истин стерегут рубежи.  
Если можешь, передай им привет,  
То, что Славянск сберегли, Расскажи...

Царствие Небесное рабу Божьему Сергию...

#### Ночной кошмар в Семёновке

В результате артобстрела поздней ночью 24 мая на одной из улиц Семёновки загорелся жилой дом. Группа ополченцев с переднего края обороны во главе с Боцманом, тремя итальянскими журналистами, которые приезжали в Славянск так же спокойно, как и российские, и одним стрингером от «ANNA-News», выдвинулись к месту пожара, чтобы найти пострадавших. Боцман владел английским и мог свободно с ними общаться. И несмотря на то, что среди итальянцев была переводчица Микела, польза от нашего бородатого полиглота имела. Пока они двигались к месту возгорания, рядом с ними несколько раз приземлялись снаряды.

— Everybody lie down!<sup>1</sup> — кричал Боцман после каждого залпа итальянцам, пока они шли к пылающему дому.

Навстречу им выбежала испуганная девушка и сказала, что, возможно, в доме осталась семья с маленьким ребёнком. Первым кинулся в пылающее здание стрингер, но у входа остановился, так как дом уже догорал. Узнать, были ли там мирные жители, так и не удалось.

Бомбёжка усилилась, поэтому Боцман сказал журналистам:

— Stay here and go to the bomb shelter<sup>2</sup>.

Все последовали в подвал, находившийся неподалёку. Девушка оказалась очевидицей того, как вспыхнул от зажигательного снаряда дом. По её рассказу, снаряд сначала прилетел в дом, а следующий разорвался рядом с ней. Взрывная волна подкинула её в воздух, после чего она неудачно приземлилась на шею и потеряла сознание. От болевого шока и удивленного ужаса её трясло.

Боцман вызвал меня по рации и сказал, что на передке возле горящего дома — трёхсотый. Я незамедлительно примчался на машине вместе с Вохой, чтобы спасти раненую девушку, но столкнулся с её неадекватным поведением в шоковом состоянии.

Дальше привожу расшифровку с видеоролика, снятого итальянскими журналистами:

— Это она упала и повредила шею слева, — объяснил мне Боцман.

Я наклонился, чтобы посмотреть, но получил жёсткий отпор:

— Не трогай руками! — вскрикнула девушка.

— Забери волосы тогда своей рукой, — попросил я.

— Я не могу!

<sup>1</sup> Все ложись!

<sup>2</sup> Оставаться здесь и спуститься в бомбоубежище.

Отодвинув всё же её волосы, дабы осмотреть травму, установил, что крови нет. На шее видна только гематома:

— Вот здесь, слева.

Ребята подошли поглядеть.

— Осколок, да? — уточнил Воха.

— Она потянула шею, у неё осколка нет, — констатировал я.

— Её могло вторичным осколком ранить, — возразил Боцман.

— Каким вторичным? Тут крови нет. — У меня не было и тени сомнения.

— Сильно болит? — спросил я девушку.

— Да.

— У тебя когда она начала болеть? — спросил Боцман.

— Когда начали стрелять — я упала.

— Скорую вызвали ей? — поинтересовался я.

Боцман сказал, что не знает, как её вызвать.

— Просто 103 вызывайте.

— Меньше маяков. Ванда, залезь за здание, тебе видно будет, — зашипел из темноты Воха, когда на аптечку упал свет экрана телефона. Достав шприц и «антишок», я предложил сделать укол.

— Куда? — встрепелась девушка.

— В любую мышцу, — ответил я.

— Не надо мне укол.

— Нет, нужен!

— Давай хотя бы в ж... — сдаётся наконец она, имея в виду место для укола.

— Хорошо, — согласился я.

Пока мы с ней спорили, кто и куда будет делать укол, Боцман дозвонился до скорой помощи:

— Здравствуйте, девушка. На Семёновку нужно скорую помощь.

Но чётко сказать, что случилось с потерпевшей, он не смог, поэтому спросил меня:

— Ванда, что с ней произошло? Что сказать?

— Скажи, что она мышцу на шее потянула. У неё шок, пусть везут в больницу.

— У неё шок, она под артобстрел попала. Сейчас я дам медику трубку.

— На, «расчехли» «скорую», — протягивая телефон, раздражённо сказал он.

Тем временем Боцман рядом с телефоном размахивает руками и громко объясняет кому-то, что случилось с тем домом:

— Там дома нет. Его просто нет!

— Приезжайте, пожалуйста, на перекрёсток. У девушки шок, она, похоже, сильно шею подвернула. Видимых ран нет, кровотечений нет, у неё просто шок. Слышите меня? — толковывал я им.

— А вы сами не можете ей оказать помощь? — после нескольких секунд молчания спросил диспетчер.

— Ну, как сказать, у нас нет медикаментов подходящих, приезжайте сюда.

— Там маленькие дети!!! — истошно закричала пострадавшая рядом с трубкой, видимо, имея в виду семью из догорающего дома.

Представьте, что на другом конце провода в тот момент подумали. Я продолжил им объяснять причину вызова:

— У неё развивается шок. В общем, приезжайте сюда.

— Там у вас сейчас стреляют, — возразил диспетчер.

— Тут уже не стреляют. Поезжайте с мигалками, и вас никто не тронет. Всё, давайте.

— Куда ехать-то?

— Перекрёсток на Семёновке, вы должны знать. Спросите место там, где стреляют.

И тут я понял, что сморозил глупость. После моих объяснений нашего местоположения с подробностями о том, что тут стреляют, они точно не приедут. Но я продолжил:

— Там сейчас не стреляют уже. Вы с мигалками приедете — в вас не будут стрелять. Вчера пожарные приезжали с мигалками — тоже не стреляли. Так что не переживайте.

Конечно, от этих слов они, наверное, ещё больше напряглись. На другом конце трубки царило молчание. Вдруг закричала потерпевшая:

— Голеностоп!

Через секунду все услышали залп и крик девушки:

— А-а-а!

Снаряд прилетел прямо к нам во двор. Все упали на землю, а после разрыва побежали к подвалу. Девушка залетела первой и шандарахнулась головой о бетонную перекладину погреба. Не её день сегодня был, однозначно...

— Тише, держите девушку, — проговорил я.

После этого услышал, как диспетчер бросил трубку, — естественно, что после услышанных разрывов мин и воплей к нам никто приезжать не собирался.

Так как Воха поставил машину рядом с горящим домом, её могли повредить осколки от мин, поэтому он побежал перегонять свою «ласточку» в более безопасное место.

На крики пришёл из передовых окопов ополченец с позывным Шах и дальше остался с нами. После взрыва он заорал ещё громче потерпевшей:

— Быстро назад, быстро! В подвал, быстро!

— Девушку держите! — продолжал я напоминать Шаху и Боцману, которые рядом с ней находились.

— А-а-а! Голова, голова! — кричала потерпевшая.

— Ножик дайте, нож дайте, — попросил я.

— Кровь, кровь, кровь! — ещё пуще разошлась она.

— Откуда? Ты головой ударилась? — спрашивал Шах.

— Дайте фонарь. Держите её. Дайте нож хоть кто-нибудь. Ампулу не могу открыть!

Я приступил к своим медицинским обязанностям. Нож мне, естественно, нужен был для подшивания ампулы.

— Дайте тряпку, пожалуйста! — попросила пострадавшая.

В видео отчётливо слышен звук перепиливания ампулы.

— Давай я отломаю, — благородно предлагает мне девушка, немного успокоившись.

— Всё, отломал, не ссы.

— Глаза, кровь! — вскрикнула она.

— Ты просто ударилась. Не парься, всё нормально с тобой, — успокаивал я.

— Кровь, глаза, ёлки-палки. Сейчас, подожди, я сама разденусь, — имеет в виду для укола.

— Могу в любую мышцу, могу в плечо. — Пока стрингер перематывал ей голову, я набрал в шприц «антишок».

— Не, давай в ж... — опять заявляет она.

— Шея болит? — спрашиваю.

— Да.

— Так и думал. Пойду пока за пушкой своей, — вспомнил я вдруг, что забыл свой автомат на улице в суматохе из-за обстрела.

— Давай, малой, — откликнулся Шах и тут же скомандовал журналистам из Италии: — Ребята, удалите, — чтобы они удалили видео, которые успели снять.

Но опытная переводчица Миша (так ополченцы называли итальянку Микелу) знает, что такой эксклюзив дорогого стоит и для них лучше под минами сгинуть, чем стереть бесценные видеокadres, поэтому она спокойно ему отвечает:

— Да, удалим, удалим.

— Миша, удаляй, — вставляет и свои пять копеек девушка.

— Удалим, всё удалим.

По ролику можно понять, что итальянцы, естественно, ничего не удалили. Они даже поделились со стрингером из «ANNA-News» своим материалом, так как у него тогда села видекамера. И правильно сделали, что не удалили...

Стоило мне только выбежать на улицу за автоматом, как укры вновь положили мину точно в наш двор. Это мне всё же не помешало забрать АК и быстро спуститься обратно в подвал.

— Малой, давай назад. Не зацепило? — крикнул Шах после выстрела, когда вспомнил, что я наверху.

— Нет конечно! — успокоил его я.

— А то за тебя точно Моторола не простит... — заперевивал Шах.

Спустившись, я полез за спиртовой салфеткой, а пока искал, продолжающая пребывать в шоке и моральном потрясении девушка, сказала, что она сама медсестра и у неё где-то есть аптечка с лекарствами и спиртом.

— Не надо, у меня всё есть. Давай плечо.

— Не. Давай «хлопком».

Перед тем как вколоть — похлопать ладошкой по заднице, чтобы не так больно и неожиданно было, имела в виду девушка. Я улыбнулся и вонзил иглу. Хотя укол «антишока» и не был таким болезненным, но её чувствительный к любому раздражителю орга-

низм, всё же сильно напрягся в тот момент. Она закричала.

— Сиди, не ссы. Только теперь желательно не садись, — засмеялся я.

— Печёт! — кричит потерпевшая.

— Да, это «антишок».

— Наркотой пичкаешь? — непонятно зачем спросила девушка.

На этой фразе видео прерывается, и всё остальное по моей памяти.

После того как я сделал укол, девушка стала вести себя немного тише. Обстрел ещё продолжался, поэтому мы из подвала не уходили. Итальянцы за всё время не произнесли ни слова. Храбрость и спокойствие этих ребят поражали. Отвлёкшись от потерпевшей, я сел на мешок с картошкой или свёклой в погребе и стал разглядывать журналистов. В темноте практически ничего не видно было, но ещё тогда, как я только пришёл, голос переводчицы мне казался знакомым. Приглядевшись, я узнал ту самую журналистку, которая меня фотографировала для зарубежных СМИ.

В первый день, как мы взяли посёлок, она приехала с фотоаппаратом и снимала ополченцев, которые ей это разрешали делать. Я тогда переживал за семью в Киеве и нигде не светил лицом. Но она сказала, что мою физиономию увидят только в итальянских СМИ, поэтому можно не беспокоиться. Своим приятным итальянским акцентом и милой внешностью она меня всё-таки уговорила на пару фотографий в профиль.

Я сидел и смотрел на неё, пока она сама не подняла голову. Остановив на мне взгляд, девушка поморщилась, как будто что-то припоминая. Через секунду её лицо украсила искренняя улыбка, и переводчица кинулась ко мне в объятия. Она действительно вела себя очень смело, но в тот момент ей, наверное, очень хотелось увидеть родственную душу, а за неимением таковой — хотя бы знакомого.

Я тоже её обнял и сказал, что очень рад видеть. Но наши объятия быстро не закончились — мы простояли так минут десять, пока не закончился обстрел. В подвале было темно, и, пока на улице грохотала артиллерия, «трёхсотая» девушка, Боцман, Шах, двое итальянских журналистов и стрингер от «ANNA-News» тихо стояли, думая о своём, — всё это придавало своеобразную романтику для меня и неё. Никаких предпосылок для этого не было, но почему-то в тот момент мы оба так захотели. Через несколько минут стояния и молчания Микела, чтобы хоть как-то объяснить своё желание меня обнимать, сказала:

— Мне страшно.

Я не ответил, но знал, что она притворяется.

Обстрел закончился и разъединил нас. Вернулся Воха и сказал, что можно эвакуировать девушку в славянский госпиталь.

К тому моменту я понял, что укры не случайно били именно по нам. Они вычисляли скопление лю-

дей по включённым телефонам. А так как сотовые гаджеты имелись у каждого, то украм оставалось только навестись по вычисленным координатам и кинуть туда парочку мин. Я даже не исключал того, что они могли слушать звонки и корректировать с ещё большей точностью. Впоследствии это подтвердилось.

Тогда по моему совету все выключили телефоны и тихонько вышли из укрытия. Временное затишье позволило потерпевшей в моём сопровождении, а также журналистам из Италии сесть в машину Вохи. Стрингер оказался местным из Славянска и уехал на своём велосипеде.

В Славянск мы ехали тихо, так как все устали и морально истощились. Миша уснула у меня на плече и проснулась только возле гостиницы «Украина», где они жили с другими журналистами. А немного раненную, немного контуженную девушку мы отвезли в госпиталь и оставили дежурному врачу.

Больше в Славянске наши дороги с Микелой не пересекались. Но, благо, я ей написал на листике свою электронную почту, которая у меня не менялась по сегодняшний день.

Через полтора года после боевых действий в Славянске, мне пришло на почту письмо от неё. Она выслала мне несколько тех фото, которые делала в Семёновке, а также написала, что скоро придет в Москву и хотела бы встретиться.

Когда мы с ней гуляли по Маяковской площади и на Патриарших прудах, она мне много поведала о своей интересной жизни. Оказывается, свой почти идеальный русский она приобрела в Сибири, когда училась в одном из университетов. Также у неё есть корни в России, поэтому она не стопроцентная итальянка. Работу военного корреспондента она продолжает, и следующей «горячей точкой» после Донбасса для неё стала Сирия, где она по сей день бесстрашно снимает свои материалы. Репортажи о боевых действиях в Славянске, кстати, она вместе с другими иностранными журналистами делала объективными — Микела показывала всей Европе обстрелы украинской армией мирных жителей, быт ополченцев, тем самым доказывая, что мы обычные люди, вставшие на защиту своих домов, а не какие-то кровожадные террорюги, какими нас малевали пропагандисты укроСМИ.

Во время одной нашей встречи в Москве я задал ей несколько вопросов:

— От какого издания и как ты поехала в Донбасс?

— Я внештатная журналистка. В то время, когда я была в Донбассе, мои статьи публиковались на «Il Fatto Quotidiano» и «La Stampa».

— Когда ты приехала на Донбасс?

— После восстания Майдана в четырнадцатом году.

— Твои ожидания и реальность от войны в Донбассе?

— На Майдане говорили, что будет война на границах с Россией, но я не могла в это поверить. А когда это случилось, я уже привыкла и только после вспомнила своё чувство неверия, которое у меня было в начале.

— Самый опасный и страшный случай, который с тобой случился на войне?

— Очевидно, в мае четырнадцатого, когда два журналиста, мои соседи по комнате в славянской гостинице, погибли в первый день бомбардировки. Тогда были страшные дни. За завтраком я ещё сидела с ними, а вечером получила подтверждение, что они в морге.

— Какое впечатление у тебя сложилось от ополченцев и мирных жителей?

— Это трудно описать. Мой брат русский, я выросла с русскими. Россия — это моя сестра.

— Вспомни ночь, когда сгорел дом и мы были в подвале...

— Я всё ещё помню ту ночь, помню бомбы, которые уничтожили дом. Когда медсестра начала кричать, мы были рядом, и ополченцы сказали, что придёт врач. Я ожидала солдата, ветерана, эксперта. А пришёл ты — с лицом моложе войны... Я думала под бомбами, что нам конец, а ты пришёл такой, говорил с медсестрой, чтобы она успокоилась. Ты сделал свою работу. Сейчас я не могу представить, как спала тогда на баррикадах под бомбами...

— Когда ты уехала с Донбасса?

— В шестнадцатом году, но не помню точной даты отъезда.

— Была ли в других «горячих точках»?

— Да, на Ближнем Востоке, но не так долго.

При подготовке рукописи к переизданию вновь случилось одно из тех совпадений, которые регулярно происходят со мной в процессе написания этой книги. С Микелой мы общаемся крайне редко, но в один из майских дней 2019 года я почему-то вспомнил про неё и написал ей в WhatsApp: «Привет. Когда в Москве будешь? Хочу тебе книгу подарить». Я ей должен был передать экземпляр своей книги ещё и потому, что там написано о ней, о нашем знакомстве и её необыкновенной смелости как иностранного журналиста на войне, на передовой под бомбёжками.

Буквально через минуту она мне ответила, что уже в Москве. Оказалось, что в момент, когда ей пришло моё сообщение, она приземлялась в одном из московских аэропортов. Символично получилось — ничего не подозревая, я написал ей, когда она вновь прилетела в Россию, спустя год.

24 мая мы с ней увиделись — она хотела взять интервью для своего издания у меня. И вдруг она вспомнила, что именно 24 мая — пять лет назад мы с ней познакомились под обстрелом в Семёновке (я не знал, что именно в эту дату). Она запомнила так отчётливо, потому что в этот день погиб её коллега — итальянский журналист Андреа Рочелли.

## ПОЭЗИЯ

Тихон СИНИЦЫН

### Из цикла весна в Диком Поле

#### МАЙ

Сирень уже цветёт почти как надо,  
Набухли кучевые облака —  
Над улицей Героев Сталинграда.  
Сейчас начнётся дождь наверняка,  
Запричитает медленно сорока,  
Георгиевская ленточка мелькнёт.  
Бессмертие, добытое до срока,  
Помянет в майских сумерках народ,  
Пока тепло закатное согреет  
Дворы сквозные  
На Большой Морской,  
А возле Тридцать пятой батареи  
Дохнёт свободой, ветром и тоской...

#### ПАМЯТИ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

##### 1

Чёрный дым из разрушенной шахты.  
В обнажённой степи перекур.  
Опасаясь бандитов и шляхты,  
Поезд следует на Чевенгур.  
Все мы здешние,  
Все пассажиры.  
Монотонный стальной караван.  
Ночь темнее и крепче чифира.  
Лопухами зарос котлован.

##### 2

Словно мухи — спокойные птицы  
Чертят в комнатном небе между  
— Эй, старик, где воды нам напиться?  
— Подходите, я вас провожу! —  
Долго помнится доброе слово.  
У дороги — шершавый ковыль,  
Одинокая бродит корова;  
Всходит солнце,  
И светится  
Пыль.

#### МЕОТИДА

*Александру Сигиде*

В лиманах опасных границ Сомали  
Пиратские шхуны стремятся в тумане  
Пугать пеликанов и красть корабли

Простых рыболовов из Тмутаракани.  
Здесь так по традиции заведено.  
Вдоль скучных курортных портов Меотиды  
Орудуют банды потомков Махно  
И смуглых крестьянок степной Атлантиды.  
В эпоху гибридных пунических войн  
Повсюду следы от вражды сетевой.  
Лишь сизые чайки смеются, как дети.  
Им не объяснить, что такое —  
Тоска.  
Гниют на причалах рыбацкие сети.  
И волны скрывают дома из песка.

#### ВЕСНА В ДИКОМ ПОЛЕ

Завален горизонт. Степные лоскутки.  
Граненные утёсы разбитых городов  
Сквозь джунгли арматуры  
Со дна сухой реки.  
Ты к этим путешествиям был с юности готов.  
Не Дон Хуан, не Дон Кихот,  
А просто Тихий Дон...  
И тишина звенящая заброшенных станиц.  
Звон битого стекла и колокольный звон.  
Внезапный звон в ушах. Звон перелётных птиц.  
Великопостный гул блокирует блокпост.  
Закат дымит в траве, как огненный шеврон.  
Мне кажется, легко рукой достать до звёзд.  
Вечерний небосклон похож на полигон.  
Разорванной полыни горючий аромат.  
— Хотел народовластия? Шагай через пустырь! —  
Кто этот путник на коне?  
Казак или сармат?  
Над полем террикон, как черный монастырь.  
Спасает Гумилёв. То Лев, то Николай...  
И новая весна мелькает, словно шанс.  
Мой буферный эдем. Мой приазовский рай.  
Что ожидает нас? Гибридный Ренессанс?

#### ДЕТСТВО

Я здесь останусь радостным ребёнком,  
Забывшим на песке свою лопатку.

*Максим Кабир*

В детстве, приснившемся,  
В райском саду  
Всё это с новою силой найду:  
Южнобережный ультрамарин,  
Грозди глицинии, дикие сливы,  
Флуоресцентный отблеск витрин  
Над перспективой ночного залива,  
Сказочных двоякодышащих рыб,  
Музыку света в баре «Магриб».  
В детстве,  
В приснившемся райском саду



Вижу упавшую в море звезду.  
 Встречу шары золотистой хурмы,  
 Ласточку, что промелькнула так близко,  
 Прямо над бухтой. Там, где холмы,  
 Тает тончайший узор тамариска.  
 В дымке фигурка морского конька.  
 Спят на причале уставшие кони...  
 Горсточка бисера, жменька песка —  
 Не исчезает в детской ладони.

### СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Отсутствие Любви  
 как признак тошноты.  
 Весна гуляет в сером камуфляже...  
 О чём мои мечты?  
 Мечты мои просты:  
 очнуться на песчаном пляже,  
 не ссорившись с тобой,  
 не пойманным войной,  
 не мучась от духовной жажды...  
 Пусть в доме сумасшедшем  
 выходной  
 наступит наконец однажды...

### ПРОБУЖДЕНИЕ

Когда-нибудь всё будет по-другому.  
 Проснешься, не узнав свои черты.  
 Не ты здесь жил. Не ты боялся грома.  
 С утра за хлебом выходил не ты.

Существовал как будто понарошку.  
 Гостил седьмой водой на киселе.  
 Пил чей-то чай. Чужую гладил кошку.  
 И ничего не понял на земле.

Знакомые разъедутся на дачи.  
 В мобильнике исчезнут номера.  
 Не сомневайся. Будет всё иначе  
 От пробужденья этого с утра.

### ОСЕННИЙ ДВОР

Тот двор — не плод мечты сюрреалиста:  
 Вполне конкретны дым и листопад.  
 На пустыре неизъяснимо чисто.  
 Скребет метлой задумчивый Рефат.  
 Скандальных воробьев галдят семейки.  
 Слежалась виноградная лоза.  
 Забыта кем-то книга на скамейке,  
 А на обложке книги стрекоза.  
 Мобильной связи нет. Всегда помехи  
 В осеннем царстве этого двора.

Цветут дубки. И грецкие орехи  
 В траве находят ангелы с утра.

### ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Из однокомнатной квартиры  
 В преддверье затяжной зимы  
 Я вопрошаю, есть ли в мире  
 Взаимность?  
 Может быть, займы  
 Даются нам: надежды крохи,  
 Морская свежесть,  
 Свист щегла,  
 Ритм угасающей эпохи  
 И вера в добрые дела?  
 Молчит дождливая природа  
 (Совету Тютчева под стать).  
 И ведь не подберешь пин-кода.  
 Намёков не расшифровать.  
 Осенних листьев криптограммы.  
 Молчок в беспроводных сетях.  
 Лишь ветра клич в оконных рамах  
 На неизвестных языках...

### В ОСЕННИХ ГОРОДАХ

В осенних депрессивных городах  
 Преобладает умбра и сиена.  
 Пока не наступают холода,  
 Накапывает дождь обыкновенно.  
 Столетний дворник утром под окном  
 Метлой гоняет рыжую собаку.  
 «Интеллигенты» в парке проходном  
 Пьют кислое вино из тетрапака.  
 Живую рыбу продают с лотка  
 Румяные отличницы с филфака.  
 Безликое подобие ледка  
 Внезапно накрывает буераки.  
 В осенних депрессивных городах  
 Бесчисленны сороки и вороны.  
 Над крышами Полярная звезда  
 Мерцает, словно око Саурана.  
 Гранитные советские бойцы  
 Оберегают площади и скверы,  
 Где хулиганят бойкие скворцы  
 И вспоминают жизнь пенсионеры.  
 ...Когда же солнце вспыхнет в облаках,  
 Осознаешь мучительно и ясно:  
 Как хорошо в осенних городах,  
 Совсем не депрессивных, а прекрасных.

### СОН АКРИТОВ

Вот перед глазами палитра и свет  
 Нетленных мозаик из храмов Востока.  
 Покров керамиды лучами согрет.

Апсиды без пафосных кружев барокко.  
Над пропастью, словно за упокой  
Поставлены в ряд кипарисные свечи.  
Ковыль шелестит невесомой рекой.  
И вечность, как плащ, укрывающий плечи.  
Заливы, холмы и тропинки овечьи.  
Эгейское море льняных облаков,  
Где ангелы на неизвестном наречье  
Поют антифоны из Средних веков.  
Такие видения снятся акритам,  
Которые в варварских странах забыты.  
Под утро, когда засыпают они,  
Мерещатся в небе Царьграда огни...

### NOTA BENE

Подальше от социальных сетей,  
От митингов и магистралей,  
От глупостей,  
Очередных новостей,  
От снега и зимней печали,  
От кафедры невыносимых наук,  
Дежурств и рутины тоскливой...  
Так хочется скрыться,  
Умчаться на Юг!  
Хотя бы в Форос и Оливу.

### ЗИМА НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Слушаю песни приморской братии —  
Апологетов талассократии,  
С вечера на берегу.  
Веер у пальмы в снегу.  
Милитаристы, поэты, рыбаки,  
С дерзкой мечтой о свободном выборе,  
Вечность встречают в порту,  
Веря в свою правоту.  
Дым перламутром кадит над хутором.  
Скучный баклан притворился Лютером,  
Крылья сложил крестом;  
Греется над мостом.  
К зимнему пляжу приводят улицы.  
На мелководье — рябые устрицы.  
Словно из янтаря  
Ржавые якоря.  
Возле причала фелюга брошена.  
А над морским пустырьём Волошина  
Брызг ледяной фонтан.  
Ожил левиафан.  
Сумерки провинциально-скудные.  
Дочь офицера —  
Готовит скумбрию.  
Сушит лавровый лист  
Смуглый медиевист.  
Блёклый пейзаж не лишен экзотики.  
Мёртвых медуз голубые зонтики —  
Держатся на плаву...  
Кстати, я здесь живу.

### НОВОРОССИЯ

От Дикого Поля  
До Тихого Дона.  
От мраморной крошки руин Херсонеса  
До синего неба из русской иконы,  
Где в майскую вечность скользнула Одесса.  
Тебя евразийские ветры соткали  
Над черными шахтами Юго-Востока.  
То солнце на скифской горит пекторали,  
То парус белеет вдали одинокий...

### ЗИМА 2014

Куда бежать Сковороде?  
Куда уедет Гоголь в бричке,  
Когда безумие везде.  
И жизнь горит быстрее спички?  
А тучи медленно ползут,  
Как самоходные машины.  
И растекается мазут  
В лиманах зимней Украины...

### ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО

В холодных лагунах Боспорского царства  
Блестящей кефали скользят косяки.  
На пирсе  
Под видом приёма лекарства  
Рыбак завершает из фляги глотки  
Сарматского крепкого, жгучего рома.  
Смеркается. Чайки кричат возле дома...  
Смешливые пантикапейские панки  
Живут на руинах глухой старины.  
Я знаю о счастье  
Из взгляда керчанки,  
Из Крымского неба,  
Из Русской весны...

Мечтаю по лестницам дряхлым спуститься,  
К пустующим яхтам пройти наугад,  
В портовом раю узнавать черепицу  
На пасмурных склонах горы Митридат,  
Где камни покрыты сухой травой  
Над прахом бесчисленных южных героев.  
Боспорское царство спасают грифоны  
На крышах приземистых серых домов.  
Всё это известно из прозы Страбона,  
Из сводок Донбасса, из скифских стихов...

### ОКРАИНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Георгиевской ленточкой май перевязан.  
За окнами стало светлей.  
Прозрачная зелень каштанов и вязов  
И сепия серых степей.

За город по шпалам идем осторожно.  
Зачем нам все это, скажи?  
Над крышами зданий железнодорожных  
Пронзительные стрижи...

Поселок рябит опереньем фазаньим.  
Запомни, как воздух тягуч,  
Как ветер наносит на свежий подрамник  
Закатную температуру туч...

## СКИФИЯ

Мне снилась скифская тоска,  
Полынный берег  
И курганы.  
Неуловимый пульс песка  
И рыхлых облаков барханы.  
Мне снился логос диких птиц.  
Им в тропосфере было тесно.  
Еще к ним не ходил Франциск,  
Их не пугал чужак из песни...  
Каллиграфический ковыль  
Мне в рукописном небе снился,  
Пока слагал кузнечик быть,  
А я в степи с дороги сбился.

Зарина БИКМУЛЛИНА

## ПРИЧАСТНАЯ

В какие бы мы гении ни вышли  
я, стоящая на фотофинише века,  
я, стоящая на вершине Маслоу,  
я, стоящая между Спикой и Вегой,  
не стоящая, впрочем, указанных выше слов,

я, не знавшая голода и бомбежек,  
я, не вставшая в Бресте живым щитом,  
я, не ставшая мылом, торшером из кожи,  
не славшая писем в сгоревший отцовский дом,

я, не сорвавшая «эдельвейс» со склонов Кавказа,  
я, не сломавшая четкий вражеский строй,  
я, не страдавшая от тифа и жара ни разу,  
в холодной больнице будучи медсестрой,

я, не ходившая провожать эшелоны,  
я, не укрывшая ленинградский ботсад,  
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но  
за нами еще Москва, ни шагу назад,

я, не встававшая по сигналу сержанта,  
я, не упавшая по сигналу сирен,  
я, не шагавшая по чужим блиндажам до  
тех дней, когда выдыхала весну сирень,

я, не залечившая шрамы на старой пашне,  
я, не отпустившая — хоть и больней вдвойне,  
я, не ощутившая, что поистине страшно,  
не имею права писать стихи о войне.

Но я, одна из последних, даривших гвоздики,  
благодаривших стандартно — за небо, за быт,  
слушавших голос — старый, уставший и тихий,  
не имею —  
слышите! —  
права о ней забыть.

## ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Как будто опали снежинки тяжелым свинцом.  
Как будто попали по пальцам, сломав и лишив.  
Не глядя разбитой вчера амальгаме в лицо,  
Я делаю вид, будто жив.

Крещенный под Аугсборгом, где-то гудит самолет,  
Секунды меняют абстрактное «где-то» на «тут».  
Я делаю вид, что люблю вместо чая лед,  
А город твердит, что его никогда не сдадут.

Из масляных красок съедобней всего лазурь,  
Но прусского много, а синего больше нет.  
Я делаю вид, будто сна ни в одном глазу,  
Как будто спасает от холода мой жилет.

Эскизы, альбомы, бумага и черная тушь —  
Всего за минуту годы развеются в гарь.  
Расчерчены окна следами витражных стуж,  
И требует жертв от искусства блокадный январь.

Буржуйка сжирает прозрачный закат, акварель,  
Стакан и обломки сиреневого куста.  
Прости меня, девочка в платье цвета апрель,  
За то, что сгораешь, срываясь с льняного холста.

На улицах взрывы, а в Урицке — дас ист гут.  
Холсты умирают без звука, горят, не треща.  
Прости меня, девочка, взрослые часто лгут,  
Ведь я одуванчик когда-то тебе обещал.

Но рваные раны наносят на спины крыш,  
И помощи нет опаленным пальцам в снегу.  
Наивная девочка, ты-то меня простишь,  
Но я отогреться потом никогда не смогу.

...Я делаю вид. Над замерзшей Невой — облака.  
Бредущие люди, кажется, дочь и мать.  
Я делаю вид на несломленный город, пока  
Замерзшие кисти способны кисть удержать.

Я делаю вид, добавляю лазурь вдалеке,  
Пока есть цвета. Если сможешь, прости меня,  
Счастливая девочка с солнцем на стебельке,  
Ведь я мог бы раньше достать тебя из огня.

\* \* \*

это должен быть текст про какую-то тетяварю,  
про неё нам известно чуть больше, чем ничего:  
говорили, что вишни в сахаре летом варит,  
вроде есть человек — и вроде бы нет его.

и когда в опрокинутый дом заходили (без битте),  
и когда еды приготовить велели (шнель),  
город вроде стоял — бесцветный, пустой, избитый,  
и стояло в глазах: немного слез и шинель.

это тесто. в составе зерно с сожжённого поля —  
пашню кто-то недавно гусеницами прогрыз —  
похоронки, дрожь (или дрожжи?), немного соли.  
тетяваря знала: крысиная смерть для крыс.

это тесто. в составе — все по рецепторам, нервам.  
вроде есть самой не хотелось, но этикет,  
в совокупности с чувством такта и джи-сорок-первым,  
не позволил радушной хозяйке ответить «нет».

этот текст, с предсказуемым и достоверным финалом,  
романтический пафос/мораль в себе не несёт,  
только вишни — а вишни молчат и седеют устало.  
вроде был человек — и нет человека.

всё.

## 1946

Так над каменной водой  
Мчатся чайки, как кликуши,  
Так туман — лесной, седой —  
Крик в груди крушит и душит.

Так река, накрывшись льдом,  
Боль под одеялом глушит.  
Так осиротевший дом  
Умирает в цвете груши.

Так несломленный изгиб  
Дикой вербы камень рушит.  
Всем — твердить: давно изгиб.  
Ей — не слышать и не слушать.

Ей — считать, что он живой,  
Ей — считать своих несущек:  
Он идет сквозь дождь и вой,  
От «Катюши» до Катюши,

Так рыдает: «На кого  
Ты меня оставил, друже?»,  
Как осенний наговор  
Бьется в ледяные лужи.

Как калиной на устах  
Стынет встрепанная стужа,

Время, вбитое в хрусталь,  
Врет: уже не станет хуже,

Врет: уже нет смысла ждать,  
Нет ни жениха, ни мужа.  
Но в пустой избе опять  
На двоих состряпан ужин.

\* \* \*

этот лабораторный журнал,  
согласно инструкции, аккуратным почерком  
фиксирует имена пострадавших.  
15/11/1942.  
Euphorb... далее неразборчиво.

этот лабораторный журнал,  
согласно пометкам,  
не рекомендует поливать свинцом ароидные.  
это подавляет фотосинтез.

этот лабораторный журнал, набросок кандидатской  
диссертации  
по стимуляции адаптивных механизмов стеблевых  
суккулентов рода Echinocactus  
в условиях  
войны.  
включает в себя факты, кол-во  
спасенных растительных форм жизни.  
когда перспективы ксилемы — топливо,  
когда перспективы семян — мука,  
чтобы их защитить, с.н.с. и н.с. идут в перспективу  
и навсегда остаются в ней.  
но здесь будут  
только факты,  
похожие на скелеты оранжерей.

этот лабораторный журнал, заполненный ей — сме-  
ющейся, похожей на T. officinale —  
заполненный ей до краев, от начала до  
страницы 129,  
не включает патетику про подвигвоблагоднауки etc.  
обращайтесь на филологический.

этот лабораторный журнал —  
последнее,  
что осталось  
от мамы.

## ДВА ДЕРЕВА

Тусклый и теплый свет  
Лампочки Ильича.  
Старенький мой сосед  
Пьет свой вечерний чай.

В ворохе пыльных книг,  
Стопок газет и нот

Старенький фронтовик  
В доме напротив живет.

Тот же подъезд — второй.  
Тот же четвертый этаж.  
Даже печаль порой  
Ночью — одна и та ж.

Снова бросаю взгляд  
На силуэт окна:  
В ветхом шкафу висят  
Китель и ордена.

Только — всегда один.  
Чашка — всегда одна.  
Что было позади?  
Голод, огонь, война?

Стоит любых потерь  
Битва с абстрактным злом.  
Только в окне теперь  
Ветви кривой излом.

Собственный прадед мой  
В Бресте весной убит —  
Дерева ствол сухой  
В пламени жарких битв.

Ни одного письма,  
Карточек тоже нет.  
Записи кратки весьма  
В сводках военных лет.

Плотные складки штор.  
Коркой на окнах лед.  
Я представляю, что  
Прадед напротив живет.

Сорванный в пустоту  
Крик журавлиных стай.  
Завтра же я найду  
Выпить с соседом чай.

Блики цветных огней  
В темной душе Москвы:  
Дерево без корней  
С деревом без листвы.

## ПОЛЕВАЯ

Однажды взойдёт пшеница.  
Однажды проснется ветер,  
Чтоб с бледным золотом слиться,  
Чтоб выдох был незаметен.

Однажды вернутся птицы  
К своим опустевшим гнездам —

Тогда прорастет пшеница  
В дрожащий от звона воздух.

Однажды вишня у дома  
Зардеется, как невеста.  
Для этого — я не сломан,  
Я выстою против веста.

Я — колос в горящем поле.  
Я — голос в гремящей бездне.  
И все, что дробит и колет,  
Однажды с дождем исчезнет.

Над нами взойдёт пшеница,  
За нами зайдут закаты.  
Дождь смоем и наши лица,  
И шрамы, и даже даты.

И будет весь мир заштопан,  
И будут рассветы сниться.  
Мы падаем в землю, чтобы  
Однажды взошла пшеница.

## Мария ЗНОБИЩЕВА

### 10 МАЯ

Вот идёт вдоль шоссе неестественно прямо  
Человек в незастёгнутой мятой рубашке.  
(В это утро так вышло: он весь нараспашку.)  
Путь неровен, всё время какие-то ямы.

Проводил на вокзале приятеля. Выпил.  
Там, за стойкой буфета обрёл одноверца.  
Снова выпил, и сам не заметил, как выпал  
Груз, надёжно хранившийся в камере сердца.

Неумело, старательно, нежно, бескрыло,  
Но, как может, он верен жене и Отчизне:  
В марте отдал свой голос, как велено было,  
А теперь вот готовится жертвовать жизнью.

И не он виноват, что ни ликом, ни чином  
Не отмечен, что пасмурен нравом, как осень.  
Но жена и страна не считают мужчиной  
Тех, кто даже десятки домой не приносит.

...Он бредёт и кричит, что докажет кому-то,  
Наступает на клумбы, увлекшись беседой...  
И следит с изумленьем за этим маршрутом  
К веткам вяза прибившийся шарик: «С Победой!»

Нет ни денег, ни паспорта. Ёжик в тумане,  
Не чутьём, так хоть чудом добредший до лета,  
Отдал всё. Но трепещет на левом кармане  
Полосатая огненно-чёрная лента.

**ЖИВИТЕ**

Нет, это не парни, что держат в объятьях  
Ухоженных девочек в ситцевых платьях,  
Не пупс с леденцом за щекой.  
Не фото с тюльпанами для Instagramm'a,  
А тихое — с губ остывающих — «мама»,  
Слетевшее в вечный покой.

А это — худющие, кожа да кости,  
Из плоти и крови, из боли и злости  
Ребята годов двадцати,  
Которым не выжить бы, а продержаться,  
Придёт подкрепление — и: «Бейте их, братцы!  
А нам уж назад не дойти.  
Коль есть он, на том повидаемся свете...»  
А это — сожжённые заживо дети.  
Там — проще дожидаться отца.  
Вот он поднимается в красном тумане,  
И тихо выходит навстречу маманя,  
Водицы даёт из корца...

Война бесконечна и вряд ли красива.  
Наверно, они бы на наше «Спасибо»,  
На залпы вечерних огней  
Сказали: «Чего уж там, Маша и Витя.  
Мы всё вам оставили. Только живите.  
Живите, родные, дружей...»

**ЛЮБИЛА ТАК...**

Профессор Смит не понимал Россию,  
Хоть двадцать лет о Пушкине читал.  
И вот его в который раз спросили:  
— В ком видел Пушкин «милый идеал»?

Профессор вспомнил странную особу  
(Таких зовут «святая простота»),  
Которая клялась любить до гроба  
Пригожего столичного шута.

Она детей наукам не учила,  
Не услаждала музыкой сердце —  
Всю жизнь она страдала и любила,  
И тем одним снискала свой венец.

Не зная пялец, пряток, сплетен, кукол,  
Блаженством чувства грезила одним.  
Любила так, что свой медвежий угол  
Вообразила садом неземным.

Она жила, как море беспокоясь,  
Бушуя пеной страхов и словес:  
Любила так, что первый незнакомец  
Ей показался ангелом с небес.

И все приличья жертвенно нарушив,  
Она решила дело не умом:

Любила так, что собственную душу  
Отправила любимому письмом.

А тот подумал: «Хорошо... Но это ж  
Почти приказ просить её руки!..»  
И, получив почтительное «нет уж»,  
Она не стала расставлять силки.

Любила так, что, не сказав ни слова,  
Была в Москву, как вещь, отвезена.  
Любила так, что вышла за другого,  
Решив, что будет век ему верна.

И вот, когда любимый с опозданием  
Ей через годы нежный дал ответ,  
Любила так, что, выслушав признание,  
Ему в слезах пробормотала: «Нет».

И такой сомнительной фигуре,  
Которой без страданий мир не мил,  
Чудачке, неумехе, просто дуре,  
Поэт за что-то славу подарил...

...Когда его о Пушкине спросили,  
Ответил он, что идеалов нет.  
Профессор Смит не понял бы Россию,  
Читай он Пушкина хоть двести лет...

**Виктория ПАНИНА**

\* \* \*

Дело ближе к весне движется.  
Память милостива ко мне.  
Оттого ли ещё дышится,  
Что приходишь порой во сне.  
И себе, хоть сойду за умную,  
Этой глупости всё не прощу:  
Столько лет о тебе думаю  
И для встречи повод ищу.  
Ты остался покинутой вотчиной,  
Расцветающей по весне.  
Ничего, мой хороший, не кончено,  
Если снишься, как родина, мне.

\* \* \*

Всё дремало в предрассветной стыни.  
Город спал.  
И туман над каменной пустыней  
Нависал.  
Укрывал белёсым одеялом  
До зари.  
Я, в платок укутавшись, стояла  
У двери.

Ни шагов, ни шороха, ни скрипа.  
 Тишина...  
 Этой ночью нам с ветвистой липой  
 Не до сна.  
 Что ж, моя печальная подруга,  
 Ты не спишь?  
 Никого. Ни шёпота, ни звука.  
 Всюду тишь.  
 Город спит, бетонным видом зданий  
 Леденя.  
 Что тебе до чьих-то ожиданий,  
 До меня?  
 Что тебе до скрежета тревоги  
 На душе?  
 Что вот так, ночами на пороге  
 Год уже?  
 Грусть едва отступит на восходе,  
 В свете дня.  
 Также незаметно, как проходит  
 Жизнь моя.

#### ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ БОРИСА ЛАВРЕНЁВА «СОРОК ПЕРВЫЙ»

Красно-белое время кистью  
 Проходило по каждому.  
 В битве двух безусловных истин  
 Что-то кануло важное.  
 Никакие войны и битвы  
 За мифическое (благое ли?)  
 Крови брата, отца, пролитой  
 Даже капли не стоили!  
 И когда за вождями своими  
 Вновь отправимся толпами,  
 Станем номер носить, не имя  
 И не будем особыми.  
 Будут вновь накрывать нас глади  
 И проглатывать пропасти,  
 Если наши сердца не сладят  
 Со своею жестокостью.  
 А задуматься бы на минутку,  
 Вспомнить время то скверное...  
 Как рыдала снайпер Марютка  
 Над врагом сорок первым!

#### СТЕНЫ ПСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Ступая вдоль стен из белёсого камня  
 И мимо палат оружейных,  
 Становишься гостем истории давней,  
 Её судьбоносных сражений.  
 Вокруг этих стен неприметны домишки,  
 Уютны аллеи и парки,  
 Но словно тогдашнего века мальчишки  
 Ныряют под Кромову Арку.

Ещё не герои, но прадедам — ровня.  
 Их память — ожогом подкожным.  
 За Русскую землю, залитую кровью,  
 Уже не стоять невозможно!  
 Кремлёвские башни в объятиях псковских.  
 Всё также крепки и на страже.  
 И слышатся криков «ура!» отголоски,  
 И гордость под ложечкой вяжет.  
 Исчезли бесследно: злой говор неместный,  
 На русле кровавые блики.  
 Но, кремль во Пскове, ты — вечная песня,  
 Ты — гимн о былом и великом!

\* \* \*

Войны растрёпанные волосы  
 Лежат у мира на плечах.  
 Молитвы тихие, вполголоса —  
 Глазами в небо, при свечах —  
 Никто не слышит.  
 Дышит порохом  
 Изнемождённая земля.  
 И змейкой огненные всполохи  
 Выписывают вензеля,  
 Стелясь ожогами и шрамами  
 По коже мирных городов.  
 И дым плывёт клубами рваными  
 Над горем матерей и вдов.  
 Войны нечёсанные локоны  
 Всеобвивающим плющом  
 Закрыли и глаза, и окна нам  
 И всё растут, растут ещё...  
 Седые, спутанные, грязные,  
 Развязаны, не сплетены...  
 И нужно нам...  
 Нет, мы обязаны  
 Отрезать волосы войны.

#### О РОДИНЕ

О родине хочется шёпотом говорить.  
 В душе освятив её имя молитвой и верой,  
 И пусть разливаются краски родные на сером:  
 На гжели небес хохломой ляжет отблеск зари.  
 О родине хочется заговорить в унисон  
 Шуршащим, летящим по ветру берёзовым косам.  
 И шелесту шёлковой ленты речной меж покосов,  
 Тревожному говору недосигаемых крон.  
 О родине хочется думать и заболеть  
 С ней вместе волненьем морей, человеческих судеб,  
 Гореть вечным жаром войны, что никто не остудит,  
 И ждать исцеления, как загулявшую мать.  
 О родине хочется просто замолкнуть на миг,  
 Свечой тишины помянуть за неё уходящих.  
 И только в себе слыша голос её настоящий,  
 В глубинах души не сдержат нарастающий крик.

Кирилл КОЗЛОВ

\* \* \*

Бежит вода. Огонь пылает.  
 Кого-то кто-то забывает.  
 Уходит в небо горький дым.  
 Останется, быть может, сонный  
 Осенний день, запечатлённый  
 Таким печально молодым.  
 Вокруг столетие грохочет,  
 Но допускать к себе не хочет.  
 И я его не допущу.  
 Перезагрузка, перекупка...  
 Прошепчет в гардеробе куртка  
 Насквозь промокнутому плечу  
 О чём-то личном, о тряпичном,  
 Как в муравейнике кирпичном  
 Людишки воду мутят вновь.  
 И если чувства отпылали,  
 Звучит вопрос: любовь была ли?  
 Была ли, собственно, любовь?  
 Осенний день бездарно прожит.  
 Меня предчувствие тревожит  
 И неустроенность, увя.  
 Одна мечта — бродить по свету,  
 Увидеть гордую планету,  
 Нерукотворность синевы.  
 И может быть, стезе дорожной,  
 Мечте моей неосторожной  
 Продлиться в ком-то суждено?  
 Кто в муравейнике кирпичном,  
 Подолгу думая — о личном,  
 Смотрел в дождливое окно.

1

Силуэты, призраки, химеры,  
 Заострён убийственный вопрос.  
 На четвёртый год войны сверх меры  
 Горестей, лишений и угроз.

Правда жизни скрыта в хлебе чёрством.  
 Вопреки предательской пальбе,  
 Я с нечеловеческим упорством  
 Продолжаю помнить о тебе.

Светлую мечту мою не троньте!  
 Не контужен я и не в бреду!  
 Мы встречались пару раз на фронте,  
 Мы горели сотню раз в аду.

Как найти тебя — подскажут птицы,  
 Реки, травы, листья, лепестки.  
 Я прочёл измятые страницы,  
 Миновал зыбучие пески.

Разгадав последнюю интригу,  
 Я иду на голос и на свет,

Прямо к сердцу прижимая книгу —  
 Книгу наших невозвратных лет.

Нет ключей к завещанному раю,  
 Чёрный дым. Сломать хребет врагу!  
 Я прошёл. Но голос твой теряю.  
 И вернуть обратно не могу.

2

Пусть будет так. Моё священнодействие!  
 Пусть будет так. Моё Адмиралтейство,  
 Андреевское знамя в вышине,  
 Изученные контуры причала...  
 Я начинаю в сотый раз — сначала,  
 Холодный свет струится по стене.

Я не спасу. Но в этом брэнном теле  
 Душа живёт одна — при артобстреле  
 И в мирный день. И в тот, и в этот год  
 Душа живёт и закликает помнить,  
 Душа живёт и требует заполнить  
 Пугающие области пустот.

Ушёл трамвай походкою блокадной,  
 Но, пробуждённый музыкой отрадной,  
 От снега отряхнулся и воскрес.  
 Спустился полвека, век — считайте сами —  
 Мы плакали счастливыми слезами  
 В холодном свете северных небес.

### ИЗ ЦИКЛА «ПРИТЧИ»

Отец благословляет сына. Сын  
 Давно готов идти к своим победам.  
 Готов сверять по Космосу часы,  
 Готов любить, писать отцу по средам.

А значит, его нужно отпускать:  
 Он позже сам найдёт дорогу к дому.  
 Он будет свою женщину ласкать,  
 Она не станет угождать другому.

Он силы вложит в дело жизни всей  
 И не прельстится дьявольской игрою.  
 Не хитростью возьмёт, как Одиссей  
 Ночную, отдыхающую Трою.

Не фарисейство сеять будет он  
 В толпе хриstopродавцев и шестёрок.  
 Он будет слушать колокольный звон,  
 Пройдёт лет двадцать, тридцать, может, сорок...

Отец благословляет сына. В путь.  
 Взгляд выдаёт сурового мужчину:  
 «Скажи, сынок, ещё хоть что-нибудь  
 И назови мне — хоть одну — причину



Для возвращения твоего сюда.  
Без этого всё меркнет, всё впустую!  
Скажи, скажи!» Ни писем, ни следа.  
Дождь разрядил обойму. Холостую.

\* \* \*

Волков опасаться — ни шагу в лес.  
Искать виноватых — вполсилы жить.  
Все те, кто был с Богом, и те, кто — без,  
Решили всё то, что должны решить.

У страха глаза велики всегда,  
У боли неистов надрывный крик.  
Природа слезы, говорят, вода,  
А длительность жизни, узнали, миг.

И что же теперь? Зачерствить сердца?  
И вновь обнаружить себя в глуши?  
Фиксирует фото черты лица,  
Фиксирует небо полёт души.

В разгуле страстей и житейских драм  
Не видим порою простых чудес...  
Но голос опять призывает в храм  
Всех тех, кто был с Богом.  
И тех, кто — без.

\* \* \*

Скоро дождь. Небеса неповинны,  
Просто где-то прольётся вода.  
Пьеса сыграна до половины,  
Доиграть не составит труда.

Что ж, вопрос на засыпочку задан.  
И пора бы сказать, не тая:  
Этой осенью дышит на ладан  
Даже поздняя слава моя!

Даже город смешной корабельный  
Не способен уплыть от судьбы  
В обозначенный мир параллельный,  
Где рабы не встают на дыбы.

Схематичный набросок скамейки.  
Просто пауза. Просто присесть.  
За душой — ни любви, ни копейки...  
Или всё-таки что-нибудь есть?

Шут никчёмен. Поэт — неподсуден,  
Он выходит живым из огня!

Михаил Александрович Дудин  
В Книжной лавке встречает меня,

Кони Клодта артачатся справа.  
И спасённая шепчет душа:  
«Нынче осень, как поздняя слава,  
Ненадёжна и так хороша!»

\* \* \*

Чего ещё? Мне только двадцать пятый...  
*Борис Корнилов*

Всего лишь двадцать шесть. Промчится май,  
Тогда мне будет двадцать семь. Всего лишь?  
Снимай меня на камеру, снимай!  
И всё, что я хотел сказать, — позволишь?

Итак, во-первых, это город мой,  
Пророс в него, не выкорчевать ломом.  
Вопрос прямой — ответ прими прямой:  
Я не торгую совестью и домом!

Ничем я не торгую, во-вторых,  
Встречаю обозначенное лето.  
Все двадцать шесть ушедших лет — порыв.  
Я знаю, так нельзя. Смешно, нелепо.

Но, в-третьих, сила есть у Близнецов  
Последними победно улыбаться.  
В-четвёртых, есть любовь, в конце концов.  
И за любовь желаю насмерть драться!

Что в-пятых? Погоди, не подгоняй,  
Задержимся у Русского музея.  
Всего лишь двадцать шесть. Промчится май,  
Похож на молодого ротозея.

И в-пятых, и в-шестых, понятно всем:  
Найти стремимся самородок смысла.  
В-седьмых, мне скоро будет двадцать семь,  
Кордебалетом выстроились числа.

Пойми, что я за них в ответе, друг.  
Побалуемся, может, пинтой пива?  
Во-первых, я услышал Петербург,  
Почувствовав мелодию прилива.

И никогда Господь не забывал  
Учеников, осваивавших сушу...  
И золотой кораблик заплывал  
В наивную, восторженную душу.

## ПУБЛИЦИСТИКА

Александр АРТАМОНОВ

### Хроники советской аристократии

*Из цикла очерков*

Мы таскаем судьбу на загривке,  
Как кровавую тушу мясник.  
Наши души пойдут на обивку  
Ваших комнат, под супером книг  
*Вадим Делоннэ*

1

«И сотворила солнечная богиня Аматерасу самурая. Но гол и незащищен был самурай, поэтому богиня подумала-подумала и надумала дать ему катану — его честь, совесть и защиту...»

Как же неудобно сидеть, подогнув под себя стопы: боль в подъеме ног, вывернутых буквально наизнанку и придавленных сверху живым весом собственного тела, мешает слушать размеренный и неторопливый шепот сенсея, застывшего перед неподвижным строем фигур в черном, фигур в белом и фигур в белых куртках и черных, широких, расклешенных штанах хакама. Большой церковный зал слабо освещен сочащимся из-за свинцовых переплетов и витражей светом утреннего декабрьского дня, вошедшего в тусклую пору зимнего солнцестояния. Чуть позади сенсея неподвижно застыл его помощник и верный ученик Дмитрий, в гражданской жизни вице-президент крупного коммерческого банка, ну а здесь: второй наставник и тренер. Мягкие маты застилают пол всей бывшей старообрядческой церкви, а в простенке между двумя окнами, на месте бывшего алтаря, висит длинный двухметровый вертикальный плакат с резкими линиями иероглифов, как будто прочерченных той самой катаной.

Как-то я спросил у одного из старших, к которым и обращаться-то можно только хорошо подумав и извинившись («Гомэн Куда-сай», то есть «Простите, что обращаюсь!»), что там такое начертано. «А все просто, — ответил старший, почесав выбритый череп и разгладив мечтательно складки на коленях хакамы. — Это означает: «Ленивый умирает»... И улыбнулся мне.

Строй молча выслушал очередное наставление перед началом тренировки и разбился на пары для отработки базовых упражнений ката. Собственно, никаких катан у нас нет: катана — это чуть ли не парадное ну или боевое оружие, выкованное из особой японской многослойной стали и теоретически способное с одного удара разрубить свинью или даже железную бочку. Нам же, ученикам юданся, то есть продвинутым в самурайской табели о рангах, но еще не особо остепененным, положен так называемый

йай — металлический незаточенный меч — для упражнений соло или же боккэн, деревянный — как правило, дубовый или из японской акации — хорошо отцентрованный клинок с рукояткой-цукой, но, как правило, без гарды-цубы. Пусть и деревянный, но боккэн — все-таки меч и требует к себе надлежащего уважения. Немыслимо начать упражнение, не поклонившись ритуально оружию и не подняв его перед собой на вытянутых руках. Меч — душа самурая. Пусть боккэн — только тень меча, но по смертоносности он в чем-то не менее грозен.

Когда читаешь про Водяного плясуна Марио из «Песни льда и огня» Джорджа Мартина, то наталкиваешься на описание того, как он сразился с законными в боевую броню рыцарями при помощи простого деревянного тренировочного меча с залитой в сердцевину свинчаткой. Самое интересное, что некоторые самураи древности на самом деле сражались боккэном против врагов, вооруженных катанами. Вот только свинца внутри боккэна нет и никогда не было.

Сегодня мне выпал спарринг со старшей ученицей с черным поясом и первым даном Лерой. Лера — маленькая, гибкая, рыжеволосая, с конским хвостом до середины спины, в изящно сидящих черных кимоно и хакама. Ну, а я пока в «пижаме», то есть во всем белом, символизирующем мой не очень-то продвинутый статус. Говорят, в японской древности, пока мальчик не надевал черные штаны хакама, связываться с ним взрослому самураю было как-то не к лицу. Мальчик мог даже провоцировать бойца, но редко кто стал бы отвечать на вызов несмышлениша, пока он не сдаст курс омотэ на уровень взрослого воина и не наденет черный низ. Как только человек получал аттестат самурайской зрелости, его можно было смело вызывать на дуэль за нанесенное оскорбление и резать сколько душе угодно. Так что белый цвет моих одежд служит мне в некоторой степени защитой и позволяет не бояться того, что старшие будут слишком серьезно воспринимать меня.

— Александр, шест-бо, Лера — катана. Первая ката с бо! — командует сэнсей. Разминаясь, я прокручиваю над головой шест, перекидываю его за спину, достаю из-за головы, не снижая темпа, меняю руки с правой на левую, потом со свистом разрубаю воздух двухметровым дрыном. Дерево зловеще гудит, раскручиваясь в руке. Когда-то я потратил много усилий и не раз получал этой самой палкой по голове в момент перехвата вращающегося бо из правой руки в левую. А сколько раз этот самый бо летел, вырвавшись из непослушных пальцев, в дальнюю часть зала! Но теперь ощущение спокойствия и четкого расстояния от кончика длинного боевого шеста до цели разливаются по телу. Бо — это часть меня, высокого мужчины в белом кимоно с двухметровым древком в руках, принявшего боевую стойку. Напротив изящной статуэткой застыла миниатюрная Лера с коротким, по сравнению с моим, оружием — клинком тренировочного меча.

— Аджмэ! (то есть «Начали!») — раздается голос старшего сэнсэя, и, описав разгонную траекторию над головой, бо, гудя, обрушивается на голову Леры — точнее, на то место, где эта женская голубоглазая веснушчатая голова только что находилась. Пока я раскручивал по широкой пологой дуге орудие самурайского смертоносного труда, Лера чуть сместилась в сторону, выставив клинок вдоль той части своего тела, в которую на излете должна была-таки прилететь моя палка. Причем она, умница, не просто поставила блок для удержания бо, но и провернула слегка лезвие, чтобы встретить летящее древко не тонкой линией заточенного клинка, а ребром жесткости меча. Ведь настоящий самурай (в том числе и самурайка) любит и ценит свой меч и передает его по наследству, как нас поучает сэнсей. А что останется от клинка, если всякий мужлан начнет колотить по нему увесистой дубиной?

— Нет, Владимир, так дело не пойдет! У тебя палка идет не при полном размахе, не из-за головы, а на самом деле ты наносишь удар будто топором рубишь, подламывая руки в предплечьях. Поэтому и замах неполноценный, и силы в твоей палке мало — пусть она и гудит так устрашающе. — Это Дмитрий подобрался сзади незаметно. Его интеллигентное, слегка оплывшее в нижней части лицо сорокалетнего черноволосого финансиста сейчас горит праведным азартом Настоящего Учителя — Где твоё незыблемое спокойствие фу-до-син? Где же боевая выправка, я спрашиваю? Обезьяна в зоопарке — твой младший брат! Посмотри на Леру! Хотя бы попробуй брать с нее пример!

Я, в свою очередь, посмотрел на Леру — не только на вырез ее черного кимоно и веснушчатый нос, но и на всю ее кошачью расслабленно-напряженную фигуру.

— Разве ты не видишь, что ты уже мертв? Лера, еще раз прими удар этого остолопа и проведи боевую расшифровку движения, чтобы он хоть чему-то наконец научился!

Глаза Дмитрия прямо-таки сверкают боевым лазером за оптикой интеллигентских очков. И откуда в нем столько неприязни и ярости? Разве так учат?

Я еще раз замахнулся боевым шестом, отведя его за спину и поднимая над головой. Далее шест устремился к девушке, падая резко вниз всей своей двух с лишним метровой протяженностью, но неожиданно я почувствовал резкую боль в кистях, как будто шест столкнулся с железным столбом, а потом ощутил укол под Адамово яблоко. Скосив глаза, я увидел такую же безмятежную Леру. Но только она уже не стояла на расстоянии трех метров от меня. В какой-то момент она оказалась буквально в метре, а лезвие ее боккэна, выточенное из черного африканского железного дерева, касалось самым кончиком моего горла.

— А ты ничего и не заметил. Ты, Володя, уже мертвец! — неприлично и шумно радовался рядом Дмитрий. — Зачем мне мертвый ученик? А все почему? Ты понял, что она сделала?

Я вытер пот — поймешь тут, когда сердце как-то тошнотно бьется в груди и явно не хватает воздуха.

— Признаться, не очень... — выдавил я наконец.

— Тогда повторим еще раз!

Опять выход на дуэльную дистанцию. Замах. Свист. И резкая боль в животе. Оказывается, теперь рыжая девица уперлась мне своей деревяшкой в низ живота — туда, где проходит аорта, — на вящую, прямо-таки пубертатно-искрометную радость Дмитрия. В ушах возникла пробка. А отдача в руки позволяла с трудом держать бо. Но дискант банковского руководителя вновь тянул свое: «Повторим еще разок! Лучше всего запомнить собственную боль! Семь раз упал — восемь раз поднялся, да?»

Новый полет моей палки. Свист. Готовность вновь почувствовать боль. А в последний момент я потрясенно ощутил, что передняя часть тела, без участия плавающего в каком-то оцепенении разума, самостоятельно отдергивается от неминуемой угрозы. Это было даже не животное чувство, а какое-то первобытно-недочеловеческое: мое мясо, уходя от боли, дернулось самостоятельно, без осмысления движения мной самим. Когда мозг догнал мышцы, я понял, что совершил боковой разворот корпусом, и меч Леры прошел мимо — там, где была моя грудь, когда я занимал первоначальное положение.

На этом Дмитрий счел себя удовлетворенным и оставил меня в покое, занявшись пожилым профессором геологии с хищными чертами лица и шкиперской бородкой. Поджарый профессор Саша (как он сам отрекомендовался при знакомстве) всю жизнь мечтал о фехтовании, но как-то до седых волос специализировался на карате, пока сосед по лестничной клетке не привел его наконец в наше додзё (школа самурайского мастерства — *япон.*). У профессора был страшный удар худых костистых рук. А еще — быстрые и точные движения мастера единоборств.

«Вот за что я люблю фехтование? — поведал он мне в раздевалке, с довольным кряхтением стягивая с себя куртку кимоно. — Да за то, что заниматься им можно хоть до семидесяти или даже восьмидесяти лет. И каждый раз открывать для себя что-то новое. Вот, помнится, рассказали мне притчу. Помирает ну очень старенький дедушка-самурай. И так у него это происходит тихо и благостно, что ученики уже подумывают, как они понесут тело учителя на погребальный костер, как вдруг он неожиданно садится на своем одре и глаголит: «Немедленно запишите! Я наконец-то понял, как правильно вынимать меч из ножен!»

Все рассмеялись. Надо сказать, что у нас в додзё не могли отнестись без изрядной доли юмора к ряду исторических фильмов — ну хотя бы к оскомину набившему «Викингу», где исполнитель главной роли Козловский, томно потупив глаза, сообщает в интервью, как это он, мол, долго учился вкладывать правильно меч в ножны, «как настоящий воин той эпохи». По его словам, дескать, и дома пришлось себя утруждать для наработки автоматизма движения.

И все бы ничего, вот только похабно, однако, Козловский, он же князь Владимир, вкладывает свой тесак в сафьяновые ножны: мало того, что в горсти держит, как какой-нибудь мясницкий нож, так еще и со скрежетом противным этим занимается. А между тем у воинов прошлого не было большего позора, чем скрежетать наточенным лезвием о ножны, потому что и дерево ножен режешь (а это тоже вещь дорогостоящая), и заточку клинка портишь, да и противнику демаскируешь намерения (это при выхватывании). Настоящие бойцы все делали быстро и тихо: «Сначала удар — потом рычи!»

Размышляя о перипетиях рыцарской жизни, я радостно прошлепал под душ, оборудованный в дальней части сводчатого церковного помещения.

— Вот думаю я, — подал голос один невысокий и какой-то налитый силой старший по дану, — как это Господь к нам, кувyrкающимся в его палатах, относится...

— Ты это к чему? — спросил фальцетом вышедший из душевой кабины Дмитрий.

— Да так! Как-то неуютно бывает: церковные все эти стекла цветные, кресты вокруг... Меня тут при входе как-то старушки остановили: спрашивали, в котором часу наш храм на службу открывается. Насилим им разъяснил, что не храм это вовсе, а спортзал. А храм дальше по Малому Гаврикову.

— Да... — задумчиво протянул профессор Саша. — Мы тут явно все у Бога на особом счету. Но ведь ничем плохим мы здесь не занимаемся. Да и церковь старообрядческая была.

Быстро одеваясь, вспоминаю, как один из ведущих православной радиостанции «Радонеж», где привел Господь работать, рассказывал, что у каждого храма есть свой ангел. И пока от храма остается хоть один стоящий камень, ангел неотступно присутствует при месте алтаря. Не потому ли в нынешней Москве на месте бывших разрушенных церквей правильные люди стремятся хоть маленькую памятную часовенку да поставить? Как тут не вспомнить о разрушенной церкви Параскевы Пятницы на месте метро «Новокузнецкая»? Ничего там не стоит, к сожалению. А по стенам станции уж который год течет непонятно откуда берущаяся вода. Уж чего только руководство Московского метрополитена имени Кагановича/Ленина не делало... А вода все течет! «Параскева по храму убивается...» — говорят в народе.

Серый декабрьский день встретил при выходе легкой поземкой и низким уютным небом, почти что достающим до крестов Елоховского собора. Закинув за плечо сумку и бокс в чехле, бодро перебегаю трассу к припаркованному напротив джипу. Выруливаю с паркинга и беру направление в сторону Третьего транспортного кольца, чтобы как можно скорее вырваться за пределы города и увидеть другой, не городской пейзаж.

По профессии я специалист в области гражданской и военной авиации. А еще и военный аналитик. Образование у меня не российское, французское,

как и большая часть детства, юности и молодости. Поэтому тот тип работы, которым теперь довелось заниматься, такой же уединенный и сосредоточенный, как, скажем, писание аналитических статей. Журналистика — это другая часть моего существования, не менее любимая, чем бизнес-аналитика. Фехтование же уж точно стало теперь еще одной гранью, без которой все как-то серо и тускло. Дача же — целый мир. Старый дом 37-го года, когда-то перестроенный сановным дедом и еще раз капитально перестроенный мной под постоянное проживание. Трехэтажное деревянное строение, имеющее форму католического креста, если смотреть сверху, высится в глуби полугектара парка с вековыми соснами, березами и каштанами. Ровно настолько, насколько я — и моя собака — любим это место, его активно не любят все остальные члены семьи. Во-первых, в доме то ли домовой, то ли привидения. Толком никто не знает, но одна из моих бывших жен настаивала, что, в бытность свою в доме, не только постоянно слышала стук посуды, перебираемой на кухне, но и видела кого-то гуляющего по дальней аллее вдоль забора. Справедливости ради, даже покойный дед-сталинист наблюдал явление в белом с фонарем на лестничной клетке второго этажа, о чем сам растерянно сообщил, похоже, так и не поняв, с чем столкнулся. А уж он-то точно ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай не верил. А еще на даче очень тихо, океанским прибором шумят сосны, и хорошо работает в кабинете на третьем этаже, за английским столом из полированной вишни, привезенным мной когда-то из покинутого имения в Провансе.

Колокольчик антирадар прервал ход мыслей и заставил сосредоточиться на дороге и на ощущениях тела, приятно ноющего после тренировки. Новорязанская трасса радовала проходимостью из города в область. Правда, после ввода в строй новых эстакад пробки начала рабочего дня в город тоже немного рассосались. Ничего. Скоро, после Люберец, можно будет нырнуть в Томилино на небольшую дорожку, ведущую вдоль железнодорожных путей среди дачных участков. А там еще километров 15 до встречи с лабрадором, уже заждавшимся в пустом доме. Жена не очень любит бывать за городом зимой. Я же отстаиваю свое исконное мужское право на «уход в лес» и «присмотр за домом, чтобы не был брошенным». Все мы про себя понимаем, что небольшие расставания на один-два дня позволяют лучше ощутить взаимное притяжение. И все же впору подумать о следующей финансовой сделке для производства нового российского самолета совместно с зарубежным партнером. Есть тут одна мысль, но пока еще не до конца оформленная. Во всяком случае, ее конкретизацией я и намерен заняться сегодня, как только доеду. Как там говорит наш старший сэнсей Артем? Катори синто-рю, наша самурайская школа, и занятие бизнесом — это сямские близнецы. И там, и там требуются холодная голова, трезвый расчет, экономия усилий и наработанные поведенческие рефлексy.

2

На самом деле большое здание на улице Поликарпова даже не здание, а комплекс строений за высоким забором с гордой надписью «КБ Лавочкина», скрывало парк, заложенный еще в эпоху Микояна. В парке тихо дремали образцы техники, выпущенной «Лавочкиным» за долгую и славную историю своего существования. Чего тут только не было — от полутораплана Поликарпова, ласково прозванного «Чайка» в боях под Халхин-Голом, до последнего штурмовика с крылом переменной геометрии, отметившегося в ходе чеченской кампании... Парк находился в центре почти что правильного квадрата, одна из сторон которого была представлена высоким забором, когда-то отделявшим КБ от летного поля Центрального аэродрома. Между прочим, по внутрицеховым преданиям, именно с этого поля совершил свой первый взлет легендарный аэробус Ил-86, бесславно снятый с производства в эпоху ельциноидов, хотя за всю историю своей почти тридцатилетней эксплуатации он ни разу не упал с пассажирами и только один раз — с экипажем, причем половина экипажа еще даже умудрилась выжить. Тем не менее Ил-86 больше не производят, в отличие от, скажем, Боинг-747, взлетевшего в первый раз в 1967 году и много раз подвергавшегося модификации. Много чудес скрывают стены старых авиационных строений вокруг бывшего Ходынского поля. Здесь напротив размещался и «Русфлот» тех же ельцинских времен. Теперь в конце поля высится новосталинский «Триумф-Палас».

Но «Лавочкин» хранит в своих стенах дух старой эпохи — эпохи дубовых панелей, крепких папирос, портретов руководителей над рабочим местом, длинных столов под зеленым сукном и ковровых дорожек. Историчность ощущается всеми фибрами. Тем не менее сейчас на повестке дня перед руководителем вопрос не исторический, а вполне и строго реальный: Мирзоян прошелся пару раз по кабинету — от портрета молодого Сухого, висевшего на стене над его рабочим местом, до двойных дверей с приемной и секретарем. Более двадцати шагов два раза туда-сюда, а решение все не приходит... С ночи, когда зазвонил «тревожный» белый телефон на приставном столике, тот самый аппарат с гербом, но без клавиш, Мирзоян усиленно думал. Голос в трубке был тих и обволакивающегипнотичен.

— С вами беседуют из Счетной палаты. Нас интересуют обстоятельства финансирования нового гражданского авиалайнера. Не могли бы вы принять нас и дать кое-какие разъяснения по проекту?

Естественно, Мирзоян согласился и выразил надежду, что предоставит исчерпывающую информацию на все вопросы. К сожалению, подумал руководитель «Лавочкина» тоскливо, в очередной раз проходя мимо больших окон, вытянувшихся в ряд от входа до его рабочего стола, дать действительно

устраивающие всех ответы он не сможет. Не сможет по той же причине, по которой хотя бы Колумб был не в состоянии оправдать свой поход в Ост-Индию перед спонсором проекта Изабеллой Кастильской и ее незадачливым мужем. Ну нет никаких разумных объяснений, почему член-корреспондент Академии Наук стал создавать проект Гражданского Самолета в стране, полностью и окончательно, казалось бы, поставившей крест на собственном гражданском самолетостроении. Все «Туполевы», «Илюшины» и «Антоновы» — вся былая гордость советского авиапрома канули в Лету, были окончательно заменены авиаперевозчиками по какому-то молчаливому сговору на Боинги, европейские Эйрбасы и прочие Канадэры. Никто не давал себе труда ничего объяснить, но бессчетная популяция современных гладких менеджеров с прилизанными, выхолощенными изнутри лицами и обязательным западным образованием убедительно доказывала топливную неэффективность российской гражданской авиации, отсталость в области прибористики и элементной базы, традиционную переразмеренность экипажей, состоящих из трех человек (2 пилота и бортинженер) вместо двухчленных команд западного разлива. Аргументы были одни и те же, а тактика их подачи унифицирована не менее, чем сценарий Майдана. Эти вот самые менеджеры должны были окупить западные зарплаты, обязательный двухразовый за год вояж семьи за рубеж, ипотеку на дом где-нибудь на Новой Риге, кредит на машину — премиум или бизнес-класса — и культурную программу неработающей жены — от драгоценностей до походов на статусно-обязательный фитнес. Программа семейного благополучия весьма жестка и никак не предполагает никаких ненужных романтических сантиментов по поводу умирающего российского авиапрома. Как правило, нахрапистые неспециалисты опирались на анонимные консалтинговые западные фирмы, пользующиеся готовыми формулами уничтожения конкурентного производства в недружественной стране. И только на третьем уровне за спинами руководителей этих зарубежных консалтинговых компаний маячили истинные хозяева положения — представители западных авиационных или оборонных (что, как правило, и по сути — одно и то же) концернов и военных разведок.

Как-то один из них, напившись с Мирзояном до ризоположения после окончания очередной зарубежной конференции, пытался растолковать, что у них, допустим, в Израиле, за многоуровневые схемы уничтожения национального авиапрома все бы давно сидели в тюрьме с полной конфискацией, а дети гуляли бы по жизни с желтой карточкой до третьего колена. «В наших странах, — витийствовал захмелевший собеседник, царапая стойку золотым брегетом и залезая в алкогольное пятно ослепительнобелым манжетом с запонкой, — нелегко, чтобы кто-то уничтожал авиапроизводство и мешал тво-

рять таким людям, как вы! Ведь авиапром — самое сложное и конкурентное в мире производство. Оно предполагает тысячи поставщиков изделий — от жидкокристаллических дисплеев до стоек шасси, от горячей части двигателя до элементов обшивки... Это же и композитные материалы, и авионика, и металлические сплавы! Это же, наконец, развитие большой науки с немедленным внедрением результатов, поставленным на поток! Даже космические аппараты не столь сложны, так как сделаны в единственном экземпляре. У нас же в авиапроме — массовость сложнейшего производства! Ведь самолет не остановишь в воздухе, если что-то засбоит!.. Людям, подобным вам, господин академик, везде должна быть зеленая улица. А как вы живете? Да и зарплаты у вас, простите, не наши! Не надоело еще мучиться?»

Тогда он ничего не ответил невежливому и по-южному напористому коллеге со средиземноморским прононсом в так и не забытом на новой родине русском языке. Он просто не мог ничего ответить. С одной стороны, коллега был прав: любое начинание в области авиации приветствовалось и поднималось на щит в любой стране западного блока. Тот же «Боинг» никогда не делился на военную или гражданскую часть: просто некоторые филиалы американского монстра работали над гражданскими самолетами, а более 80% основного производства и исследовательских лабораторий были заняты в американской оборонке. Такое положение дел было абсолютно нормально и для европейской корпорации «Эйрбас». Почему же тогда ему, Мирзояну, вплоть до Кремля указывают, что он, мол, залез не в свою область? Решился производить гражданские самолеты, когда «Лавочкин» — это всем известная военная фирма. Аргументы, по аналогии с Западом, на собеседников не действовали. «У них там свои игрушки, а в нашей избушке русские погремушки!» Или же из той же оперы: «Где бы нашему теляти да волка задрасти!..» Возникало чувство безысходной ярости, ощущение замкнутого круга, сговора...

«Может быть, это начинающаяся паранойя?» — с тоской подумал Аванес, затягиваясь сигаретой (только он один имел право курить в этом здании в своем кабинете; так и не сумел на шестом десятке лет отказаться от давней вредной привычки). Да, он увлекся! Он так хотел, так бредил возрождением элементной базы отечественного самолетостроения! Он так хотел избавиться от набивших оскомину станций проектирования узлов и деталей «Униграфикс», на которых разве что китайцы да мы теперь работаем! Он мечтал перейти на станции «Кати-4» и «Кати-5» и бесстапельную многоточечную сборку конструкции. И ведь не важно, о военном или гражданском борте идет речь! Важно, что в стране почти не осталось полноценных авиационных заводов замкнутого цикла!

Тут ему ненароком вспомнился извечный конкурент Иванов, гордившийся тем, что в таежном углу

России стал производить длинномерные части для западноевропейских «Эйрбасов». «Вот прямо сидел-сидел у себя там, за Хребтом и неожиданно обрел выход и возможность, — горько подумалось Мирзояну. — Не верю! Не могу поверить, потому что знаю Иванова как облупленного. Откуда у него связи? Кто дал заказ?» Мирзоян быстро подошел к столу и набросал скорописью задачу: «Узнать, кто отвечал за досье по длинномерам у Иванова...» Потом опять вернулся к безрадостным мыслям. Да, ему пришлось пойти на формальное нарушение — начать исследования по гражданскому самолетостроению, не согласовав со всеми инстанциями. Но ведь победителей не судят, а результат может действительно превзойти все ожидания!

Перед тем как начать этот безумный Проект, он, помнится, провел ревизию собственного производственного центра. Результаты были более чем печальны. Главное, это станки. С тех пор, как ельциноиды во главе с Гайдаром и Чубайсом (один уже на том свете отчет Господу представил — похоже, там заждались, так как уж больно скоростно скончался «великий реформатор» и внук страшного дедушки-палача) уничтожили опытную станкостроительную базу в Ижевске, в стране фактически не осталось центров станкостроения. Мирзоян вспомнил, что в его собственном производственном центре до сегодняшнего дня работает пресс «времен национализма». Конечно же прессу ничего не делается, но все же ни электроники точной, ни автоматизации там близко не наблюдается. Что уж говорить о покрасочном цехе, где женщины в комбинезонах лихо малярят из распылителей готовые борта. Когда иностранцы как-то раз забрели в покрасочный цех, то убежали оттуда в шоке в цех окончательной сборки. Правда, там им тоже, сердечным, стало плохо, так как на раскрытые кабины истребителей из дырявой крыши весело капала вода. «Ну и что с того? — оправдывался потом добродушно начальник производства. — Аванес, у нас же тут весна-то еще когда? Подморозит чуток, оно и не будет капать, а истребители у нас тренированные — ничего им от пары капелек не делается!» Тогда скандал удалось замять, хотя алжирский генерал прямо-таки визжал на своем арабском диалекте, настойчиво повторяя одно и то же слово. Когда переводчика спросили, что это за слово такое, он сухо бросил: «На арабском это означает варвары».

«Ну и варвары», — грустно улыбнулся Аванес своим мыслям, пододвигая к себе стопку непросмотренных бумаг. «Ну и что с того? Как будто мы от хорошей жизни так? Хотя, с другой стороны, наш калашников даже из-под воды стреляет в случае чего...» Сверху на стопке лежали кандидатуры на прием на работу. К первому листку была прикреплена записка: «Юрий Иванович очень рекомендовал обратить внимание...» Мирзоян нахмурился.

Юрий Иванович, глава московской лжи и бывший министр, был равно настолько же опасным, на-

сколько улыбчивым и внешне добродушным человеком. Бесчисленные складочки полного лица и большого тела создавали образ доброго и безобидного дяди, какими-то судьбами занесенного на верха власти. Впечатление портили неуютные глазки-буравчики, которые из-под кустистых бровей так и сверлили собеседника. Когда-то Юра помог Аванесу — посадил его в кресло Генерального и подсказал пару ходов, чтобы задвинуть предыдущего Первого — вспылчивого и непростого по характеру ученого — академика Светлова. В те страшные девяностые Светлов пустил на территорию предприятия таксопарк и сумел за счет непрофильных доходов отопить цеха и выплатить зарплату инженерам, о ту пору бежавшим с предприятия, как тараканы от санации. Выплатить-то он выплатил, но полномочия свои превысил, да и КБ — режимный объект. Вот и кукует теперь почетным президентом в почти что отключенном от внешнего мира офисе с верной престарелой секретаршей, раскладывающей пасьянсы на вечно пустом столе пыльной приемной почетного, но так — увы! — позорно опростоволосившегося президента.

Аванес давно не вспоминал о том случае. То, что он делал, было для пользы дела. По крайней мере, он в это свято верил. Не к месту всплыли в памяти жесткие слова старого академика, когда Мирзоян впервые вошел в этот кабинет не подчиненным, а полномочным хозяином. Предыдущий Главный еще не успел освободить свое вековое гнездо от вещей. А на столе стоял графинчик с чем-то алкогольным. Помнится, Аванес тогда даже бросил фальшивосочувствующе: «Вам же вредно!» А в ответ услышал такое солдатское, что даже вспоминать противно. Ход же этот, хитрый ход по таксопарку подсказал добрый и вечно улыбчивый, умильный дядя Юра. При чем во имя дела, прошу заметить, подсказал, а не личного обогащения для.

Мирзоян пододвинул поближе к себе листок с незнакомой фамилией и вчитался: «Кузьмин, Владимир Генрихович». Отчество, конечно, труднопроизносимое, хотя и сам Мирзоян в этом смысле не подарок. «Французская военная академия. Профиль «Авиация». Высшая Школа Управления в Париже...» Так-так-так! Мирзоян шелкнул бензиновой зажигалкой «Зиппо», подаренной ему как-то одним американским авиатором. «Чем дальше в лес — тем толще партизаны. Это что еще за птица-феникс неизвестной породы? А не набрать ли нам Юрия свет Ивановича? А не подстава ли это? Времена-то у нас пусть и не прежние, но предприятие по-прежнему насквозь режимное и оборонное?»

Он нажал клавишу коммутатора с секретарской:

— Света, соедини с Ромашкиным!

Меньше чем через минуту телефон замигал зеленым датчиком.

— Да, — сухо бросил Мирзоян по громкой связи.

— Аванес Арменович, Юрий Иванович на проводе.

— Юрий Иванович, доброго тебе здоровья. Что финансы?

— Финансы мои, — донес динамик милый и уютный голос, — как и положено им у классика, поют романсы... Был у меня тут на днях Саша Починок. Опять, как всегда, опоздал. А я приготовился: так и назначил все встречи с учетом его предполагаемого сорокаминутного опоздания. Представь, дорогой, успел совещание даже провести. Починок входит — и ну извиняться! А я ему: да не страшно! Кутузовский, конечно, едет плохо, а скорее всего, Саша, ты поздно из Горок Девярых выехал. Да и номера у тебя теперь не федеральные. Он мне: «Вы всё знаете, Юрий Иванович, только человек вы какой-то неприятный, потому что всё знаете!» А я ему: «А за что, милый Саша, страусы не любят кошек?» Он: «За что?» А я ему: «Да за то, милый Саша, что кошки гадят в песок, а страусы туда голову прячут». Вот так-то! Зачем обеспокоил старика? Рассказывай!

Такая длинная тирада не была внове для Мирзояна. Он знал, как Ромашкин умел «уводить» собеседника или попросту заговаривать ему зубы, выщепывая неторопливо капли информации. Потом он эту информацию анализировал и делал, как правило, феноменальные, но точные выводы.

— Юра, тут от тебя человек один... У Иванова поработал. Ему помог получить от «Эйрбаса» заказ на длинномеры. Но вот беда. Ты сам написал на листочке с рекомендацией «Характер неуживчивый». Так зачем он мне и зачем ты мне его рекомендуешь?

— Странный ты, мой друг, человек! — закричала трубка. — Ну, характер у юноши неуживчивый. А ты его биографию, с позволения сказать, видел?

— Да странная у него какая-то биография... Вроде и профессиональная, но с французским, понимаешь, проносом.

— А ты, Аванес, про схему финансовую одного нашего авиаперевозчика слышал?

— К чему это, Юра?

— А вот представь, что вместо того, чтобы под монастырь подводить замгенеральных и главбуха, взяли бы лучше ребята-авиаторы одного такого варага и лучше бы на него всех собак навешали: мол, в наши ряды прокрался шпиён. Именно он, негодяй, казачок засланный, и перевел весь профицит по зарубежной недвижимости на номерные счета. А мы, дескать, сырые и убогие, из Москвы носа не кажем. Где нам такое уметь?

— Ты это к чему, Юрий Иванович? Да еще по телефону?

— Ну, положим, телефон у нас с тобой не простой, а очень даже особый, почти что золотой, хе-хе! На козе ты к такой защищенной линии связи не подъедешь. А кому положено знать, так тот даже в туалете тебя во всех проекциях наблюдает. А не у тебя ли, Аванесик, дефицит по гражданскому проекту наматился?

Мирзоян потер непроизвольно виски: и это знает, черт старый!

— Так ты подумай, свет мой, — продолжала мирно журчать трубка, — Мальчик, мной рекомендованный, горячий и несдержанный, понимаешь? Поручи ему стратегией заниматься! Да заодно финансовый план подкинь: пусть за тебя всем доказывает, что проект доходный. Годик-полтора поддержки. А потом... Он же тебе доказывал необходимость западного сотрудничества? Доказывал! Ну вот ему и первый кнут, если каменный цветок не выйдет! Так или не так?

— Так назначить его на директора по стратегии, говоришь? А потом «под монастырь» — за ушко да на солнышко, так?

— Ну да! — деликатно покашляла трубка. — А потом возвысим еще. Может быть... Ведь как говорили в эпоху Вождя? Плох тот начальник, который еще не сидел. А когда на него досье в наш сейф ляжет, мальчик наш станет тихим и благостным. Глядишь, и в люди выйдет. А у нас на него всегда золотой ключик будет лежать.

— Берешь на себя ответственность? — холодно перебил Мирзоян.

— Я??? Ответственность??? — ужаснулись по ту сторону провода. — Господь с тобой, мой милый! Это у ТЕБЯ, Аванес, хорошая мысль родилась. Управленческая такая. А я тебя хотел вот на пироги пригласить. Крещение скоро. Хотя ты у нас, наверное, монофизит.

— Кто? — тупо повторил Мирзоян, разглядывая портрет молодого авиаконструктора тридцатых на дубовой панели стены напротив своего рабочего места.

— Впрочем, — неуловимо поменял интонацию собеседник, — это не важно. Ты же москвич и по-армянски даже «здравствуйте!» не скажешь. Оторвался, однако, от предков и высоко взлетел. В общем, заезжай в конце недели к нам в Красную Пахру. Красотища тут у нас и тишины, доложу я тебе... Ну прямо хрустальная! Вот встал с утречка, Богу помолился, а сейчас Монтескье читаю.

«Монтескье он читает, — подумалось Мирзояну, — как же... Скорей уж, Макиавелли...»

Трубка опустела. Даже короткие гудки не пошли. Света, умница, как увидела красный сигнал окончания правительственной связи, сразу же нажала на клавишу разъединения. Постой! Так он по «вертушке» звонил! Да из дому! Вот тебе и Юрий Иванович с Монтескье! У считанных людей Российской Федерации аппарат специальной связи стоял дома, и до сей поры Юрий Иванович в такой роскоши замечен не был. Советами человека со спецсвязью пренебрегать себе выйдет накладно. И дело не в этом, как его там, Генриховиче, с нелегкой биографией, а в симпатичной комбинации, которую наш шахер-махер обрисовал. Что ж...

Мирзоян нажал на клавишу селектора.

— Света, заберите у меня объективку со стола! Свяжитесь с соискателем и вызовите ко мне вечером на собеседование!

Диана НАСРЕТДИНОВА,  
Алина НОСКОВА

## Из бесед с ветеранами Великой Отечественной войны

«Мы подошли к Великим Лукам...»

Адгамов Алмас Махматович — родился 23.04.1923, генерал-майор, воевал под Москвой. Редактор журнала «Военный вестник» Министерства обороны СССР в 1970–1975; участник знаменитого Парада Победы на Красной площади 1945 года. Спустя десятилетия дважды занимал место в парадном строю на Красной площади в 50-ю и 55-ю годовщины Победы народа над фашистскими захватчиками.

— Алмас Махматович, когда мы изучали Вашу биографию, то обнаружили, что вас называли на фронте Александр Михайлович или Саша. Это правда?

— Да, было такое.

— Как Вы проводили минуты отдыха между боями, какие песни пели, может, были стихи. В нашем университете есть ветеран, мы с ним тоже разговаривали, и он нам рассказывал о своих любимых песнях, которые поддерживали дух... Помните ли Вы такие?

— Я вас могу только огорчить... Ведь я попал сразу в самые ожесточённые боевые действия под Москвой в декабре 41-го, в январе 42-го... Это был крошечный ад... Какие уж тут песни?! Питались кониной. Потом я был в медсанбате, потом снова вернулся в строй. Ржев... это ад был. Немцы тогда были хорошо вооружены, а мы кроме винтовок ничего и не видели. У меня был пистолет, но однажды даже с этим пистолетом я встретился один на один с тремя немцами. Я был ранен, начал отползать. Они по ту сторону речушки идут (разведчики), я по эту сторону. Решил отстреливаться, пока хватит сил, иного выхода нет. Это было зимой, январь 42-го, и хорошо, что на мне был маскхалат. Так что ни песен, ни стихотворений, ничего. Отступление, оборона, сплошное горе, слезы, кровь... Больше ничего!

— Была ли у Вас с родными связь?

— Никакой связи. Какая у нас связь? Это потом уже треугольники слали, в 43-м. Я писал своей сестре в Татарстан. Она в школе работала, ну, и в Казань писал. А в 43-м я уже попал в тыловую госпиталь... Там крепко досталось, но подлечили. А потом я в составе Министерства обороны ездил по войсковым частям, готовил резервы... И побывал на Кубани, обучал молодых парней. Их доводили до линии фронта, на этом заканчивалась моя миссия. Самая жестокая, кровопролитная и великая по масштабу битва войны — это Московская битва, или битва за Москву. А потом Великие Луки...

— Был ли у Вас запоминающийся день? Может быть, он был очень счастливым, или, наоборот, самым несчастным?



— Это был январь 43-го. Мы подошли к Великим Лукам и бились лбом о камни, как говорится. Не могли отбить город. Враг нас косил. И только начиная с 43-го отладили боеснабжение, появились у нас орудия, например, появились самолеты, танки пошли. Сначала понемногу, потом все больше и больше. До этого ведь у нас ничего подобного не было. Порой в рукопашный бой шли. Слава рабочим инженерам в тылу, которые уже с конца 42-го (вы, возможно, знаете, что Сталин перевел в тыл остатки заводов) полноценно обеспечивали фронт снарядами и вооружением. К концу же войны мы шли в наступление, имея огромное преимущество в орудиях, самолетах, танках. На километр фронта у нас было от 200 до 300 орудий. Вы можете себе представить? А следом, что называется, пехота с орудием пошла за танками с песнями в прямом смысле этого слова.

— У Вас были ранения... Долго ли Вы были в госпиталях?

— Я месяца три пролежал в госпиталях.

— Серьезные были ранения у Вас?

— Да, тяжелые. Было два тяжелых ранения. Обе ноги переломало. В одной ноге — в кости, а в другой — в суставе. Но на войне врачи чудеса делали. И, видите, Аллах меня сохранил.

— Ну на войне по-другому никак, только чудеса и происходили... А Вы верующий? Ведь, насколько известно нам по истории, в тот период запрещалась любая религия. Ну, конечно, на фронте это не запрещалось, кажется, было негласное разрешение. Как Вы сами относились к приметам, к религии? Помогала ли Вам вера?

— Нет, я не верующий. Я — уважающий. Религия — это полезно. Верующие люди, они счастливые.

— А Вы замечали солдат, которые молились, совершали намаз?

— Да, знаете, половина солдат были верующие. И они с трудом, но находили моменты, когда можно помолиться.

— А как взаимодействовали бойцы разных конфессий? Наверняка в Вашем подразделении были бойцы абсолютно разных религиозных предпочтений и национальностей. Не было ли каких ущемлений, конфликтов?

— Нет! И для вас вот, что может быть интересно... Татары в большинстве своем верующие. Татар в русской армии очень уважали, потому как они сражались героически, умело, не щадя себя. Они очень полезные солдаты и офицеры. И ведь, если посмотреть, сколько на фронте татар было! Если смотреть в процентном соотношении среди всех героев, преимущество брали татары — Герои Советского Союза, они больше всех подбили танков, очень храбро себя в боях показали. И я уважаю религию. Она придает мужество, веру в себя, помогает преодолевать страх. Благодаря религии верующие солдаты выполняли свою задачу хорошо.

— В Вашем взводе были только татары или солдаты других национальностей тоже?

— Я поступил командиром пулеметного взвода. У меня были и татары, и чуваша, и русские, и удмурты. Мы формировались в Удмуртии.

— Еще вопрос. У Вас же были, наверное, боевые товарищи, с которыми Вы прошли бок о бок всю войну?

— Нет, не было.

— Ну, хотя бы какое-то продолжительное время?

— Это только в самом конце, когда в бой шли с песнями, когда наступали, когда мы были оснащены боевыми орудиями и снарядами по полной. На исходе войны, когда немцев уже добивали, тогда были друзья. Тогда еще появились фотоаппараты, фронтовые карточки. Нас спрашивали: «Есть у вас фотокарточки?» Какие там фотокарточки и фотоаппараты?! Они появились уже ближе к концу. Там быть бы живыми...

— Назовите, пожалуйста, фамилии Ваших ныне живущих фронтовых соратников?

— Не могу, к сожалению. Нас, фронтовиков, почти не осталось. Мы собираемся Комитетом ветеранов войны. Да и таких сейчас единицы... Таких, как я. Мне-то 94 года как-никак. Мы часто встречались нашей дивизией на Поклонной горе 9-го Мая. Мои однополчане уже ушли из жизни. Ветеранов 4-й Ударной армии собирали каждое 9 мая, и наших было человек восемь. Собирались постоянно, но через два года осталось всего трое. Все!

Пожелания: за вами будущее! Самое главное, чтобы впереди у вас были победы, но только на мирном фронте!

## На границе заставы

Гатауллин Багир Аглиевич — родился в 21.03.1927, полковник пограничного отряда МВД СССР 1944—1945 гг.

— Багир Аглиевич, откуда Вы родом, где Вы призывались в армию?

— Родом я из Татарстана, есть такая деревня Подгорный Байляр (подгорный — это русское слово, там горы, а вот байляр — татарское, означает «богатый») Мензелинского района.

— Получается, там Вы призывались в армию?

— Я жил в своей деревне и начал трудиться с ранних лет. Сначала с женщинами убирал сорняки в поле. Отец был продавцом крупного сельпо, потом председателем... Интеллигент своего рода. Мачеха все время болела. Комуто надо было трудодни зарабатывать, и я мальчишкой уже трудился. Отец умер, когда ему было 85, а мать ушла рано, когда мне было семь лет. Я даже плохо помню ее, помню только, как я однажды стучал по подоконнику, а она с соседкой болтала. Я звал ее, иди, мол, домой. Стукнул сильнее и разбил большое стекло окна (смеется).

— Вы один были в семье или у Вас были сестры, братья?

— Я был шестым, а всего нас девятеро было.

— Были ли Ваши близкие на войне? Воевал ли кто еще?

— Я не воевал, потому что я — пограничник. Даже сейчас там, где я служил, пограничная застава.

— Багир Аглиевич, расскажите, пожалуйста, как для Вас началась война?

— В это время отец работал колхозным кладовщиком, я оставался за него со связкой ключей. Спал в сених над погребом. Меня будит женщина: «Иди, кладовщик, открывай амбар». Пришли... я просто это хорошо помню... Двадцать два мужика уходили на фронт, а я им отпускал продукты, мясо, масло... Половина погибли на фронте, половина приехали ранеными и вскоре скончались от ран. И из всех призванных я остался один копытить небо...

— Как проходило Ваше детство? Где учились?

— Я отучился семь классов, потом перешел в девятый... Проучился два месяца и бросил. В деревне мужиков не было, а кому-то работать надо на лошадях. И вот я и пахал, и боронил, чего только не делал. В деревне бездельников нет! И даже зимой говорили: «Нечего делать — вывози грязный снег!» В нас воспитывали уважение к труду! Поэтому в армию шли крестьяне, и она была рабоче-крестьянская.

— Когда вы призвались, Багир Аглиевич?

— Призвался я в 44-м году в ноябре на границу с Афганистаном, потому что по возрасту я не подходил — подождали два года, дали подрасти. Я там служил три года, в том числе десять месяцев во время Великой Отечественной войны. Эта служба и сейчас называется выполнением боевой задачи.

— А вообще были ли обычаи какие-то у Вас в деревне?

— Да, были. Как-то раз неводом ловили рыбу... И был такой обычай у нас: как только готовим уху — вся деревня съезжается — попробовать. Так вот и я тоже сижу с рыбаком старым, с солдатом Русско-японской войны. А тогда я был лейтенантом уже. И идет солдат, мой сверстник, сержант. Рыбак ему говорит: «Садись, мол, тоже ешь. Вон со мной офицер сидит и ест — не брезгует» (смеется).

— Все мы знаем, что каждый день на войне был крошечным адом. Но все-таки, может, был какой-то хороший день? Или хотя бы просто спокойный?

— Я помню этот день хорошо... Мы на границе заставы. Начальник заставы каждый день дает боевой приказ: идти туда-то, заниматься тем-то. Помню, мы сидели с ефрейтором спиной к спине. Был участок (около 500 метров туда-сюда), мы должны быть начеку, чтобы шпион не прошел. Что такое граница?! Есть там вспаханное поле, огражденное колючей проволокой, контрольно-снеговая полоса. Каждый раз лежишь — смотришь против солнца: не испортился ли покров земли, не прошел ли враг. Там кабанчики иногда пройдут (улыбается). А на дозоре идешь (всегда по двое ходили), бывали и собаки. И у каждого есть пароль, отзыв. Если кого-то встретим, то меня спросят обязательно пароль, или нужно стукнуть по прикладу (это оговаривается).

— Багир Аглиевич, расскажите нам, пожалуйста, были ли у Вас боевые товарищи других национальностей? И если да, то каких? Бывали ли конфликты на этой почве?

— Нас было пятнадцать человек. Все разных национальностей.

— А как Вы общались? У вас был переводчик?

— Там был туркмен из Ашхабада, переводчик. Он нами еще командовал и был смотрящим некоторое время, когда нас перевели в саперный отряд, который сооружал препятствия. А потом меня взяли от них, я стал писарем, заменил старшину, ездил в Ташкент сверять бумаги (учет оружия).

— Багир Аглиевич, у нас есть вопрос о религии. Нам интересно знать: религиозный ли Вы человек? Верили ли вы в Бога во время войны? Ваши товарищи, они ведь все разных национальностей и, скорее всего, представители разных конфессий, они молились? Веровали? Как Вы к религии относились в тот период?

— Ну, здесь каждый по-своему, конечно. Иногда говорили: «БисмиЛляхи Ррохьмани Ррохьим», когда садились за стол. Это была как короткая такая молитва перед едой. А вот туркмен частенько вспоминал молитвы. Нельзя сказать, что мы прямо соблюдали все правила, но в душе всегда верили, всегда что-то такое было, и сейчас оно есть. Избавиться от этого, наверное, нельзя, да и не надо, потому что думаешь о судьбе, о родственниках, как бы все живы. Если сон видел, то толкуешь его, это вот одно из любимых занятий было — толковать друг другу сны. Это тоже своего рода признаки веры, наверное. Я помню мечеть и минарет. Даже мой дед то старостой был, то муллой...

— В Вашей деревне жили верующие люди? Как относились к религии?

— В деревне около ста шестидесяти домов было. Отец мой был глубоко верующий, он читал молитвы и совершал намаз, как положено, а я сидел, смотрел и слушал. Дед мой, я уже говорил, то старостой был, то муллой. Вообще, люди, может, и не знали молитв, но в душе каждый молился по-своему. Вера прежде всего учит порядочности, справедливости. Земля сама воспитывает людей, поэтому землю нельзя обманывать. Она помнит все. Так же и люди друг к другу относились. Было дружное соседство, был порядок. Если люди не знали молитв, они все равно соблюдали все предписания, потому что в душе было святое. И я так про себя могу сказать. Я никогда никого не обманывал.

— Как Вы проводили минуты отдыха? Может, пели с товарищами? Или стихи читали?

— Да, выходили по вечерам из казармы, садились на ступеньки и запевали песню. Разные песни были, но чаще всего строевые. Но в те времена на заставе мы потихонечку пели, негромко... А что еще там было делать?! В шахматы мы не играли...

— Багир Аглиевич, не могли бы Вы что-нибудь пожелать современному, нашему поколению? Дать пару наставлений, может быть?

— Наставления мало помогают, надо чтобы уклад жизни учил. А по жизни самое главное — труд! А у нас многие молодые люди не хотят трудиться, я имею в виду труд и физический, и умственный. Нужно напрягаться, потому что без этого никак! Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас был честным и правдивым. У вас должна быть постоянная душевная чистота перед семьей, совесть и ответственность перед людьми и перед самим собой.

Виктория ТОЛКАЧЕВА

## Война под Ясиноватой

### Туманные будни «перемирий»

В этот раз мы отправляемся на позиции в густом тумане: белые снежные поля и небо сливаются воедино. Командир роты Внутренних войск «Жора» решил лично отвезти нас, в сопровождении — еще один боец с позывным «Хамелеон». Машину иногда заносит: мы вязнем в подтаявшем снегу, но «Жора» умело возвращает нас на дорогу, если такой её можно было назвать.

Пока едем, «Хамелеон» рассказывает, что на днях, как раз по туману, через линию фронта пыталась пройти группа украинских диверсантов. ВСУ сначала открыли шквальный огонь по позициям ДНР, используя обстрел, как отвлекающий манёвр, и в это время ДРГ попыталась пройти вдоль посадки у поля. Но наши бойцы вовремя её заметили, и достичь какой-то цели у украинских диверсантов так и не получилось.

По пути замечаем сгоревший легковой автомобиль — украинские освободители «достали» машину из АГС, благо водитель вовремя успел выпрыгнуть.

«До украинских позиций тут совсем не далеко. Если ты стреляешь с высоты, то из АГС на два километра можешь закинуть. По прямой тут дальность полтора километра, а на некоторых участках — всего лишь метров 700–800. Машину могли отследить или же скорректировать огонь с помощью беспилотника, — говорит «Жора». — Прилетело прям в машину, хорошо, что водитель был военным, не запаниковал и успел вовремя выскочить — остался живой и здоровый. Это главное. А железо — это не жизнь».

### Братья меньшие на фронте

За такими разговорами и рассуждениями подъезжаем на место, где нас встречают бойцы ДНР и их братья меньшие. Звонким лаем приветствует очаровательный пёс — немецкая овчарка с необычной кличкой Козлик. Его на позиции к ребятам ещё щенком привез командир, теперь он вместе с ними несёт службу.

«Козлик давно уже с нами: у меня с ним много фотографий, когда он ещё совсем мелким щенком был, — с улыбкой отмечает «Хамелеон». — Он на любую мелочь обращает внимание. Что-то где-то немного бухнет — мы не слышим, а он уже ощущает. Если Козлик прячется, то скоро начнётся что-то серьёзное, и мы тоже предпринимаем меры повышенной безопасности».

Ближе к кухне мы встречаем и второго питомца защитников ДНР — кота Зёму. Ребята смеются, говорят, что кот чувствует себя хозяином, только пока Козлик остаётся на цепи. На «промке» Зёма живет уже давно: «Жора» нашёл его маленьким котёнком в лесопосадочной полосе недалеко от позиций. Уже тогда котёнок был ранен и долго отлеживался в блиндаже возле печки.

«Видите, какой наглой мордой он вырос, — спрашивает «Жора», когда кот снова выходит к нам из тёплой кухни. — Зёма у нас разведчик. Иногда видим, как поутру с той стороны возвращается, или может ночью внезапно прямо в бойницу запрыгнуть».

Зёма словно понимает, что сейчас говорят о нём: ходит вокруг командира и ребят, громко мяукая. «Хамелеон», смеясь, добавляет, что кот хотя бы сейчас научился мяукать — раньше из-за ранения он только хрипел. Теперь Зёма — ласковый и бойкий кот, который не боится охотиться даже на крупных фазанов.

Мы немного обходим позиции по кругу. За время, пока меня тут не было, ребята провели серьёзные строительные работы. В первую очередь, ради безопасности, так как с украинских позиций часто сюда прилетает.

«Здесь ранения получил один наш товарищ, — рассказывает «Хамелеон». — Прилетел АГС, и его ранило в щеку, пробило живот, грудь, ногу — четыре проникающих ранения, да и я получил ранение в колено. После этого мы ещё более тщательно построились тут. Тем более самая ближайшая украинская позиция отсюда находится менее чем в километре».

### «Общество уже не примет тех, кто стоит на той стороне»

Пока я рассматриваю постройки и слушаю бойца, мой коллега, польский фотокорреспондент Давид Худжец общается с командиром: тема разговора от военного дела плавно то переходит к политике, то возвращается обратно.

«Смотри, как получилось. Мы пошли воевать за Русский мир, мы хотели присоединиться к России. Сейчас нам говорят: возможно, будет интеграция в состав Украины, то есть мы будем с особым статусом, — говорит «Жора». — Да, если война прекратится, меньше пацанов будут погибать, лезть непонятно где на передовую — будем копать не блиндажи, а картошку на огороде. Но есть одно большое «но»: общество уже не примет тех, кто стоит на той стороне. Не получится по щелчку политиков нас об-

ратно «интегрировать», здесь просто будет бойня. Не будет позиционной войны — будут убивать друг друга так, на местах. Их настроили, что мы — террористы, плохие, нас надо уничтожить».

Не обходится и без обсуждения грядущих президентских выборов на Украине. «Жора» передаёт нам то, что услышал от своих знакомых, ныне проживающих на Украине. А рассказывают они о том, как на Украине заставляют голосовать за Порошенко: просто приходят на предприятия и заставляют работников в добровольно-принудительном порядке отдавать за него свои голоса. Условия достаточно простые, кто не согласен — теряет работу.

«Вот выгонят с работы человека, и куда он пойдёт? На паперть? Он будет держаться своей работы, а потому поставит галочку там, где скажут. А пенсионерам предлагают тысячу гривен «за галочку» за Порошенко. Это реальные сведения, так как не только мне рассказывали об этом знакомые», — добавляет командир.

Вдалеке раздаются выстрелы из стрелкового оружия, и наш разговор снова возвращается к текущим делам. По словам и бойцов, и командира, в туманные дни на линии фронта могут «гулять» только ДРГ, ведь в таких условиях вести какие-то наступательные действия просто невозможно. Участок у «авдеевской промки» всегда был беспокойным и самым жарким, сегодня же защитники ДНР рассказывают, что на каждую позицию у укропов словно есть своё расписание: то минами обложат, то обстреляют из АГС и крупнокалиберного стрелкового. Это уже устоявшаяся норма. С точки зрения мирного жителя, это жутко, но для ребят, которые пять лет стоят на передовой, в этом нет ничего удивительного.

«О наступлениях говорят много. Но вот сейчас, например, снег тает, потом будет грязь — техника не проедет, да и люди, обвешанные брониками, разгрузками и оружием далеко по слякоти не уйдут. Будет большой глупостью идти по такой погоде в наступление — мы сможем спокойно их отстреливать, как в тире. Они хоть киборгами себя называют, но по такой погоде повязнут быстро», — указывает «Жора» и этим отвечает на наши вопросы о возможном наступлении с украинской стороны.

### Тихие разговоры у печки

Перед ротацией нам разрешают подняться ещё на одну позицию. «Хамелеон» идёт с нами — сегодня его задача всюду нас сопровождать. Возле знакомых блиндажей нас уже ожидал «Фанат»: парень из Макеевки, с которым я знакома уже больше года. Обстановку боец характеризует довольно кратко, но вполне понятно: «Их не поймешь, что они там делают. Напеются и начинают обстрелы, мол, вперед — мы герои, ура. Пусть идут вперед, мы их ждем».

Невольно речь заходит о привычных для ВСУ провокациях перед православными праздниками, и

ребята вспоминают, как на передовых позициях провели в этом году Крещение Господне.

«На Крещение мы подготовили по три ведра холодной воды. Поставили на улицу, чтобы она зарядилась правильной энергией, набрала необходимую температуру. После становились на колени, крестились, и три ведра ледяной воды выливали на каждого, — рассказывает «Хамелеон». — После первого ведра я подскочил и почему-то начал бежать, даже не сразу понял, что остановиться надо и обратно. Но это чувство непередаваемое, будто заново родился».

Военнослужащие подтверждают, что украинские усиленные обстрелы или провокации перед значимыми православными праздниками — уже привычное дело. Особенно если на позиции возвращались так называемые «нацбаты». «Что с тех безбожников взять» — задаётся «Фанат» риторическим вопросом, при этом отмечая, что и он, и его сослуживцы к таким праздникам стали относиться гораздо серьезнее, чем до войны.

Ребята бодро продолжают общаться с моими коллегами, а я иду в блиндаж к печке — за это время уже успела продрогнуть. Там знакомлюсь ещё с одним бойцом с позывным «Тихий». Молодой мужчина из Иловайска, на войне — с 2014 года. Немного понаблюдав за ним, я понимаю, почему парню дали такой позывной, а после он сам подтверждает мои догадки: говорит, что человек он спокойный и почти неконфликтный. Из-за характера «Тихим» и прозвали.

«Тут обо всём по чуть-чуть думаешь, и о мирной жизни иногда задумываешься, вспоминаешь, — отвечает мне «Тихий», когда я ближе подсаживаюсь к буржуйке. — Но на гражданке уже толком друзей и не осталось — у нас уже разные идеи, разные приоритеты в жизни. Дома меня только мать ждёт. Быт и семейные дела, а личную жизнь строить трудно: появишься два-три раза в месяц дома — кто столько ждать захочет?»

«Тихий» немного рассказывает о себе, аккуратно, фраза за фразой. Ему сложно поверить, что эта война когда-нибудь закончится, так как слишком многим, на его взгляд, она выгодна. Из-за этого он и не пытается строить планы на жизнь: будет военным, а дальше как сложится. А сейчас его, теперь уже как родные, товарищи остаются на передовой, и он остаётся вместе с ними.

Пять лет на войне всё равно накладывают отпечаток особой усталости, а за короткие выходные едва кто-то успевает хоть немного отдохнуть. Но все эти тяжести не останавливают никого из них: ни «Тихого», ни «Фаната», ни «Хамелеона».

Мы возвращаемся к другим укреплениям, где нас ожидает «Жора». Поездка не обходится без общей фотографии, чая в теплой кухне и жизненных баек. Непринужденная беседа, перемежаемая добрыми шутками друг над другом, немного расслабляет. Думаю, на фронте без этого никак: нельзя всегда оставаться сосредоточенным, в напряжении,

и не сойти с ума. Я долго наблюдаю за бойцами, которые стали друг для друга почти второй семьей, а перед отъездом желаю всем оставаться целыми и невредимыми...

Когда я дописываю этот текст, я уже знаю, что блиндаж, в котором мы с «Тихим» грелись у печки, сгорел дотла в результате украинского обстрела. «Освободители» Донбасса положили на небольшой участок несколько десятков 120 мин, и от укрепленных защитников ДНР ничего не осталось. Во время обстрела «Хамелеон» получил контузию, но, к счастью, никто из бойцов не погиб.

И я невольно думаю снова: оставайтесь целыми и невредимыми.

### **Бои за Саур-Могилу. «Медведевцы» стояли до последнего**

На Саур-Могили всегда ветрено, одновременно легко и тяжело. Легендарная высота, святое место, уже сполна политое кровью защищающих его солдат. 28 июля здесь, во время одного из самых тяжелых боев за всю войну в ДНР, ради удержания позиций своей жизни отдали еще четверо сынов Донбасса. В их числе Герой ДНР Олег Гришин с позывным «Медведь» — один из командиров батальона «Восток». В эту дату на Саур-Могили встречаются «медведевцы» — бойцы Олега Гришина, а также другие сослуживцы, семьи погибших и выживших здесь ребят, чтобы почтить память своих товарищей.

Даже спустя пять лет «медведевцы» помнят происходящее практически до деталей. Они рассказывают мне о боях, обстрелах, спокойно, уверенно, иногда даже с легкой полуулыбкой говорят о своих чувствах в тот момент, хотя от одного представления произошедшего на высоте становится жутко. Одними из тех, кому повезло выжить в жесткой «мясорубке», растянувшейся на несколько дней, были «Бумер» и «Монтажник». Они удерживали свою позицию, с которой хорошо было видно дорогу на границу с Россией.

### **С пулеметом против танков**

«Бумер» рассказывает, что на позиции высоты они приехали 26 июля вечером, окопались, а после всю ночь длился обстрел. На следующий день украинская армия продолжала ровнять Саур-Могилу с землей. И уже 28 утром началась сильная канонада, в атаку пошли танки — «Медведь» скомандовал готовиться к бою.

«Хорошо помню, как нам в окоп пытались донести БК, но был сильный обстрел, так что пройти было просто невозможно. Все эти поля вокруг высоты были усеяны украинской техникой, — рассказывает «Бумер». — Мы смотрели на эти танки с безысходностью: ну что ты можешь сделать с пулеметом против брони? Но о смерти никто не думал, думали о том, как отбиться. После отбитой первой танковой атаки

хотелось взять пулемет за ствол и бежать следом, адреналин кипел. Начинало темнеть. Украинская техника то отходила, то снова пыталась подняться на горку — тогда и было принято решение вызвать огонь на себя. БК уже оставалось мало, людей тоже было немного».

Мужчина вспоминает, что однажды солдаты ВСУ зашли на горку в тылу защитников ДНР. Наши бойцы подумали, что это были свои, так как они ждали разведку, но диалог между группами сложился несколько необычный.

«Марс заметил, что кто-то ходил по стеле, хотя наши все должны были сидеть по окопам из-за обстрелов. Я развернулся в сторону стелы, Саня тоже повернулся с автоматом в руках. Из-за стелы вышло несколько человек. Я закричал: стой, пароль. В ответ на меня орал матом, я все равно требовал остановиться. Люди замерли. Я снова потребовал назвать пароль. В ответ мы слышали «батальон Восток», хотя правильным был просто «Восток». Спустя еще пару секунд кто-то заорал «лягай», и по этому звуку мы сразу открыли огонь. Наш стрелковый бой продолжался почти до рассвета».

В руках у «Бумера» его личный телефон, с которого пять лет назад «медведевцы» вызывали на себя огонь своей же артиллерии.

«Мы перебили все номера телефонов сюда, я его отдал «Сому». На счету было около 70 гривен и новая батарея. Почти трое суток он работал в режиме передачи. И нормально. Хохлов тогда очень сильно накрыли, были слышны дикие вопли и стоны, всюду останки. Многие истекли кровью из-за ранений в руку или ногу — никто помощь им не оказывал», — подчеркивает «Бумер».

В этот же момент мужчины вспоминают о собственных ощущениях.

«Когда наша артиллерия по нам заработала, это было какое-то облегчение. Так как силы и БК уже были на исходе. Противники даже сначала не поняли, что произошло. Им «Сом» еще крикнул перед первым залпом: «Держите подарочки».

«Бумеру» тогда в бок через бруствер прилетел осколок. Но он жив остался. И уверен, это потому что наши бойцы окапывались на месте постоянно, в итоге именно окоп спас их жизни.

Спустя время высоту все же пришлось оставить: на такой шаг пошла другая группа. «Монтажник» и «Бумер» отмечают, что этих ребят можно понять: разве могут десять человек что-то сделать против очередной мощной атаки танков, другой техники. Их командир «Урал» погиб, были и другие раненые ребята.

После тяжелых боев в последних числах июля пришло время ротации: жизненно необходимо было забрать раненых бойцов, сменить тех, кто три дня находится под градом металла.

«Наша артиллерия сделала нам проход, — говорит «Монтажник». — Рано утром 30-го июля, еще были сумерки, со стороны Снежного заскочили на-

ши ребята. Забрали раненых, подъехав на белом бусе прямо под кафе. К нам они подошли чуть позже, принесли воду, так как мы в своем окопе оставались уже совсем без воды. Тогда еще впопыхах подумали, что забрали всех. Но на месте оставались «Бумер», «Рева» и еще один боец. За ними вернулись, и они едва успели запрыгнуть в машину, как начали раздаться взрывы».

Сложнее всего этим смелым мужчинам даются слова о погибшем командире. «Бумер» сильно жалеет, что в том бою «Медведь» погиб.

«Олег был настоящим командиром. Спокойный, выдержанный, обстоятельный. Достаточно было одного его слова, даже не приказа, а именно слова, чтобы все выполняли необходимое. У нас было много мужиков с опытом, но все прекрасно понимали, как надо вместе работать. Я никогда не слышал от него ни одного грубого слова, только слова поддержки».

Мне очень запомнился момент, когда мы были под Песками, готовились идти ночью в атаку. Я спросил, сколько нас будет, он ответил, что 20 человек, но впереди есть мины, растяжки. Я узнал, а сколько людей на той стороне, на что «Медведь» ответил: «Может, 50, может, 100, а может, 200». Я снова задал вопрос, не мало ли нас в таком случае, а Олег сказал, что чем меньше людей, тем проще управлять.

За таким человеком можно было идти куда угодно. Очень жаль. Нам не хватает командира. Возможно, многое было бы по-другому, если бы он остался жив. Я ни о чем не жалею, только о том, что его с нами нет. Очень не хватает этого человека».

### **Чудотворная «Богородица Донецкая» на вершине Саур-Могилы**

От подножия Саур-Могилы к вершине высоты «востоковцы» и их родные идут крестным ходом. В руках — икона Божией Матери «Богородица Донецкая», которую специально в этот день доставили к мемориалу. На вершине ветер треплет знамена, они громко хлопают, но слова отца Бориса слышны отчетливо. Каждое «Вечная память», «Господи помилуй» врзается в душу, панихида проходит в тишине, и только ветер качает флаги «Востока» и отдельный флаг «медведевцев».

«Мы защищаем свою землю от всякой нечисти, — обращается ко всем отец Борис. — Сейчас перед святой иконой Божией Матери «Богородица Донецкая» — она появилась тут в 2014 году — мы отдаем память тем ребятам, которые здесь погибли, и всем, кто отдал свои жизни за нашу землю. Мы должны их помнить».

До победы еще очень далеко, еще очень многое предстоит — это только начало. Но мы должны помнить еще одну очень важную вещь. Война — это кузня, которая выковывает настоящих людей, призванных построить по-настоящему справедливое человеческое общество. Если мы этого не сделаем, то

тут будут хозяйствовать те, кто развязал эту войну и теперь стремится на ней нажиться. Я думаю, мы выстоим, потому что с нами Бог. А кто против Бога — туда им и дорога. Нам нужно помнить, что линия фронта не только там, где стреляют. Она проходит через душу каждого человека, и эта война прежде всего должна очистить от всего, что мешает жить нам по образу Божию. Погибшие всегда в наших рядах, святая память о них всегда будет с нами. Да поможет нам Бог. Аминь!»

После слово берет еще один боец из команды «Медведя» Андрей Ревенко с позывным «Рева». От его слов к горлу подкатывает ком, а сдерживать эмоции все сложнее — рядом начинают всхлипывать родственники погибших ребят.

«Пять лет назад мы потеряли здесь наших друзей. Был такой же солнечный, ветреный день, было жарко, но не от погоды, а от того, что нам здесь устроили вражеские войска в огромном количестве. Этот день хорошо помнят те, кто здесь был. Мы потеряли очень хороших ребят. И жизнь нам была дарована для того, чтобы сохранить память о событиях того июльского дня, который пришелся как раз на день Крещения Руси».

Вроде как прошло много времени, вроде как много событий наслнилось, но тот день всплывает в памяти абсолютной картинкой, словно это было буквально вчера. Закрываешь глаза и видишь, как тут все пылало в огне. Наша задача нести память об этом дне, о людях, которых мы потеряли в самом начале построения нового государства, — мы еще толком тогда не понимали, что хотим построить, но знали, что не принимаем той власти. Память о наших погибших друзьях не даст забыть, ради чего и в протест чего мы поднялись. Вечная память нашим боевым товарищам».

Снова тишина. Снова ветер «хлопает» полотнами флагов, а после раздаются автоматные выстрелы. Оружейный салют в память о смелых боевых товарищах, о цене, которую пришлось заплатить за свободу, за свой выбор. На могилах «востоковцев» появляются новые цветы, звонким эхом от вершины вниз стремится звук колокола — удар за ударом.

И теперь здесь находиться очень тяжело. «Рева» соглашается рассказать и даже показать на месте, как происходил бой на высоте в тот самый день. И мы поднимаемся немного выше, почти к самой вершине, к стеле.

### **Цена отбитой атаки**

«Эта крыша была моим рабочим местом. — «Рева» показывает на продырявленную железную конструкцию, похожую на огромный лист металла. — Я выполнял функции наблюдателя: сверху стелы видно хорошо и далеко, и когда по нам отрабатывала артиллерия, можно было заранее увидеть выстрел. Это давало запас порядка 20 секунд, что позволяло укрыться или переместиться ребятам».

Сначала на стеле сидел «Сом»: он местный и хорошо знал окрестности, поэтому в первую ротацию просидел тут почти сутки. Мы с «Сомом» делили сутки пополам, по 12 часов. Можно было чуть-чуть пить, но не есть и не спать. Эта крыша находилась под углом 45 градусов. Бывало, сильно нагревалась на солнце. Но чтобы что-то видеть, нужно было на нее залазить. Ночью было немного проще, я полностью на неё ложился, и слышал, где какая техника шумит. Так что своего окопа у меня не было: я либо был наверху тут, либо отдыхал».

Именно 28 июля Андрей Ревенко находился в том месте, где, по его словам, в итоге пригодился — на северо-западном склоне. Туда прорывались танки: собственно, они доехали до кафе, стояли уже совсем рядом. Один из первых танковых выстрелов попал в верхушку стелы, где на флагштоке висел триколор. Обычно «медведевцев» обстреливали со стороны населенного пункта Тараны, а в ночь на 28 июля со стороны Петровского работали Д-30. И каждый раз Андрею Ревенко приходилось спрыгивать в маленький проход той самой железной конструкции, так как в другом случае при попадании его просто струсило бы со стелы.

«Первым погиб наш товарищ Олег. Снаряд прилетел в парпет, за которым он находился. Мы не сразу смогли понять, куда он подевался, потом на том месте нашли его сложенный автомат, а сам Олег был отброшен на угол площадки, — «Рева» идет по небольшой площадке, ступенькам на вершине и в буквальном смысле показывает нам историю. — Вот бруствер, за ним окопчик, сюда двигался Коля «Чех». По заданию «Медведя» он должен был поднести РПГ и снаряды для него, рации, БК. Уже совсем близко на самой горе стояла тяжелая техника, сзади — боевые машины полегче и пехота, снайпера. «Медведь» до последнего стоял здесь и управлял боем.

Последний голосовой контакт с командиром у меня был, когда он вызвал нас по рации и спросил, кто есть в подвале. На тот момент в подвале было двое «300-х», которым только оказали помощь — «Сема» и «Назар». И я из целых. Командир спросил, сколько нас, я ответил, что я и двое «300». Тогда он сообщил, что с малой горки возвращаются танки и надо «встречать» их с РПГ. Я узнал, сколько есть времени, и он ответил, что они уже напротив туалета, то есть, они уже подъезжали к площадке. Это была пара танков, следом за ними три БМП и БТР с десантом.

Скорее всего, танки должны были заскочить на площадку и, удерживая нас огнем, дать возможность зайти десанту к нам в тыл. Я сказал, что беру РПГ и работаю. Последние слова, которые я услышал от «Медведя», были такими: «Работай, Андрюша, работай». Даже в такой горячке событий от него шла такая спокойная уверенность, которая придавала сил. Я вышел к танку. Коля «Чех» еще не успел добраться до Олега: рядом он попал под танковый выстрел, его отбросило, перевернуло. Он полз на звук, «Медведь» затащил его к себе в окоп, положил рядом, взял це-

лые магазины и, время от времени поднимаясь из-за этого бруствера, вел огонь из автомата и подствольного гранатомета по наступающему противнику. Больше ничего у него не оставалось.

После произошел еще один танковый выстрел. Естественно, снаряд пробил бруствер, осколки металла и камни нанесли тяжелые ранения «Медведю». Их с Колей тут засыпало, и можно сказать, что «Медведь» защитил Колю своим телом, потому что их откинуло от взрыва. Около 40 минут мы никак не могли подойти к ним на помощь: «Чех» вызывал, говорил, что он «300», а Олег очень тяжелый «300». Ему даже сложно было говорить. А мы не могли пройти даже 20 метров от ближайшей позиции, потому что постоянно летел поток металла».

Спрашивать ни о чем не хочется. Просто смотришь на мемориальную плиту и понимаешь, что тут, именно на этом месте, погиб человек. Погиб, чтобы защитить свою семью, своих товарищей, свою землю. Мы продолжаем идти дальше — спускаемся к той самой площадке у кафе, на которой «Рева» подбил украинский танк. Навстречу нам поднимается Олег Ветер — ветеран подразделения «Восток», а на момент 2014 года командир группы разведки, которая «работала» по диверсантам ВСУ в районе Саур-Могилы. «Рева» не может не отметить: «Хорошо, что мы встречаемся в такой обстановке, белым днем, друг другу улыбаемся».

Мы идем в развалины кафе, даже осматриваемся внутри помещения, в подвале — все выглядит почти так же, как и пять лет назад. Сложно представить эмоции бойцов, которые каждый год возвращаются на эту вершину, каждый раз вспоминают, что тут произошло, кого и как они тут потеряли.

«Когда вышел из кафе, уже видел ствол танка. Было сложно сделать выбор, куда стрелять, так как у меня был один заряженный выстрел, — продолжает свой рассказ «Рева», когда мы снова выходим на площадку. — Танк уже целиком стоял на площадке. Я выпустил снаряд. «Сема» хромал за мной с одной стороны, Назар — с другой. Я только сделал выстрел и сразу присел, а рядом со мной легла пулеметная пуля — танкист успел повернуть пулемет, но провернул оружие чуть дальше. После моего выстрела танк сразу покатился назад, а второй танк, не понимая, что происходит, тоже начал откатываться вниз.

Вокруг горела именно земля, ничего не было видно из-за сплошной занавесы дыма. Грохот тоже стоял сильный. По стеле издалека работали еще три БМП. Я не мог по вспышкам точно оценить дистанцию: но со второго выстрела я попал в «бэху», которая вела огонь. В итоге украинская атака немного захлебнулась, но в этот момент мы уже потеряли «Медведя»...

На Саур-Могили всегда ветрено. Солнце палит беспощадно, но сильный ветер постоянно посвистывает, гулко хлопает оставленными на вершине флагами, слегка покачивает колокол. Такой потрясающий вид донбасской природы и такие страшные

истории сплетаются в одну цепь на этой высоте. Вершина пустеет, становится совсем тихо, даже безмолвно, и только порывы ветра вроде бы как иногда доносят голос отца Бориса:

— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

*Опубликовано на сайте информационного агентства «Новороссия» 31 июля 2019 г.*

Михаил КИЛЬДЯШОВ

## Мы могли бы говорить стихами

Русская поэзия второй половины двадцатого века была настолько богата и многолика, что сегодня, в веке двадцать первом, все мы могли бы говорить стихами. Казалось, что русский язык, подобно фольклорному языку прашуров, весь прорифмован, что его слова в созвучиях сами тянутся друг к другу. Казалось, что русский язык достиг духовной высоты церковно-славянского, что отныне в поэзии не будет ни одного суетного слова, каждое в стихотворной строке окажется на своём промыслительном месте.

Но на рубеже веков новейшая история литературы будто угодила в прокрустово ложе — и от неё отсеки всё самое драгоценное, оставили в тени тех, кто способен вызвать глубочайшие размышления и переживания.

Говоря сегодня о конце двадцатого века, относительно просвещённый читатель наверняка назовёт Бродского, Асадова, Высоцкого, Рубцова, шестидесятников и рок-поэтов, но вряд ли вспомнит Слуцкого, Смелякова, Мартынова, Соколова, Передреева, Маркова, Наровчатова, Яшина, Тряпкина, Кузнецова, Примерова, Исаева, Прасолова, Решетова...

Из имён этого круга уже сформировался новый пласт «возвращённой литературы», а точнее, литературы, которую ещё предстоит возвратить. Причём никто из этих поэтов никогда не был под запретом, никуда не эмигрировал, оставался на родной земле, писал о её радостях и печалях.

Тревожнее всего, что не знают этих имён нынешние молодые стихотворцы. В своей преемственности они идут в лучшем случае от Серебряного века и затем теряются в безвременье. Всё, что было написано после войны, представляется им однообразным, шаблонным, идеологизированным.

Но литературный процесс пробелов не прощает. Если распалась связь времён, если ты претенциозно войдя в литературу, не огляделся, не присмотрелся, не увидел предшественников и старших современников — всё, что ты напишешь, в итоге окажется беспомощным, уподобится отражению в кривом зеркале. Поэт, начинающий новый день, не состоящий без знания дня вчерашнего, без понимания того, что продолжает, с чем спорит, чем восхищается.

Поколение поэтов-фронтовиков и детей войны, многие из которых, к счастью, ещё рядом с нами, указали будущим поколениям наиболее интересные пути. У каждого из этих поэтов есть своя болевая точка, откуда разрастается целый творческий космос. Например, у Владимира Соколова — тоска оттого, что время отсекло его год рождения от поколения фронтовиков. У Анатолия Передреева — поиск в окружающем мире «вечного материнства». У Юрия Кузнецова — преодоление «безотцовства». У Игоря Шкляревского — стремление к слиянию природы, истории и сна. В подобных болевых точках новое поколение может прорубить для себя небесные колодцы, обрести самобытную эстетику, философию, стихотворную форму.

Неведение — не трагедия. Его всегда одолеет тот, кто хочет знания, кто стремится к открытию, кто готов услышать рассказ о «возвращаемых поэтах».

Верится, что в этом рассказе удалось отречься от сухого анализа, излишних биографических подробностей. Верится, что в нём сложился сюжет, появился герой — ПОЭТ, который наводит мосты времени, зашивает словом черные дыры беспамятства.

### Борис Слуцкий: «Свидетель первого века»

В какую бы эпоху ни жил поэт, он всегда свидетель первого века. Века, в который явилась путеводная звезда и вода обратилась в вино. Века непреложных истин, рождённых хождением по водам и перебитыми голениями, горькой чашей и губкой с уксусом. Первый век указал путь одоления предательства, тьмы, смерти, путь к неугасимому свету.

Веком «синим от неба и солнца», веком «прокладки широких дорог», назвал его Борис Слуцкий. Именно в этом столетии земля была ближе к «вечной лазури», слово обрело плоть, стало «половиной дела, лучшей половиной», смогло «горы переставлять». Потому поэт в своём календарном, историческом веке, даже спустя два тысячелетия, сохраняет небесное притяжение начала эры.

Век за веком человечество копило противоречия, зломыслие, дряхлело от бесплодных дел, всё реже поднимало глаза к солнцу, привыкая видеть только прах. Всё реже восклицало «Осанна!» и всё чаще кричало «Распни!».

Люди уподобились лошадям, выбравшимся из трюма корабля, потопленного посреди океана. «И сперва казалось — плавать просто, океан казался им рекой», думалось, что до берега — следующего века — всего один рывок, малое усилие. Но «воды многие» были необозримы, увлекали в пучину ослабевших и отчаявшихся. И оставшимся, чтобы доплыть, предстояло сбросить всё лишнее, сберечь только необходимое, сокровенное, подлинное. И сбросили они потускневшее золото, яства, уготованные для пира, расшитые земные одежды — но бремя не стало легче, продолжало тянуть на дно.

И только поэт прозрел, что топил людей короста греха, сковавшего души. Не смыть, не счистить его,



только огнем поpalить можно. Но не тем, что высекается из камня, не тем, что теплится среди углей. Этот огонь принесёт война, огонь неземной, пролитый из чаши гнева:

Плохие времена тем хороши,  
что выявлению качества души  
способствуют и казни, и война,  
и глад, и мор — плохие времена.

Савл в той войне станет Павлом, разбойник уверует, расслабленный окрепнет, павший обретёт жизнь вечную.

После войны поэт уподобится Фоме, который усомнится во всём, станет убеждаться, что любовь, милосердие, счастье есть, что в первом веке их не придумали. Поэт будет вкладывать персты в раны мира, и в нём, прободённом копием войны, ощутит лёгкий трепет, сердцебиение: «И решил я в ту пору, что есть доброта, что имеется совесть и жалость». Значит, души очистились, значит, человек стал неведомым, и теперь, после великого испытания, он может не только плыть, но и идти по водам.

Раны мира остались на телах фронтовиков. Они разложили войну на пули, взрывы, осколки, ножевые удары, расщепили её на адские атомы, приняли их на себя, запечатали войну в своих шрамах до той поры, пока «послевоенный период не станет предвоенным».

Поэт тоже обретёт свою рану. Её залечат в госпитале, развернутом в заброшенном храме. Там неотмирным видением, «дорогой через сон» поэту откроются проступившие сквозь белизну палаты Голгофские фрески, и в этих крестных муках родится поэтическая строка — животворный луч первого века.

«Грехи прощают за стихи» — донесутся до поэта то ли собственные слова, то ли слова друга, оборванные войной и так и оставшиеся незаписанными. Отныне тысячи невоплощенных стихов погибших товарищей станут жить в поэте. Поэзия «рвётся к благодати», и потому никогда не умирает: застывая на устах одного, она изречается другим. Замысел, не доживший до письменного стола, будет уловлен, как волна тепла, иным стихотворцем, может быть, обретя иные формы, иные слова, пусть через десятилетия, но всё же дойдёт до читателя.

Таков Божественный «закон строфы и строки». Согласно ему, поэзия отсекает всё лишнее, фокусируется на самом главном, позволяет поверить в то, в чём невозможно убедить:

Но стих — прибежище души.  
Без страха в рифму всё пиши.  
За образом — как за стеною.  
За стихотворною строкой,  
Как за разлившейся рекой,  
Как за броней цельностанальной.

Только поэзия сквозь мглу и тьму открывает обетованный берег беспокойного океана. Оттого в кон-

це мучительного векового пути поэт всегда первым возвещает: «Земля!».

Поэт влечёт за собой всех, но ступить на берег нового столетия ему не суждено. Изнурённый больше остальных, уже идя по мелководью, он не уберёжёт своего сердца за считанные годы до двадцать первого века:

За порог его не перейду,  
и заглядывать дальше не стану,  
и в его сплоченном ряду  
прошагаю, пока не устану,  
и в каком-нибудь эנסком году  
на ходу  
упаду.

Ведомые поэтом ступят на твёрдую почву, станут искать себе новых вожakov.

А поэт вернётся в благословенный первый век. Там уже будут те, кто готовился в земные пророки-сладкопевцы, а стал небесным ходатаем: «серебряней, хрустальней, золотей стихи у ангелов...»

Они, так похожие на друзей довоенной юности, источают свет, им неведомы телесные раны, неразрывными нитями ангелы посылают на землю солнечные лучи.

### Сергей Марков: «Река величавого слова»

Великая память пращуров, ты объяла собой не десятилетия и даже не века. Ты проросла из той поры, когда время было младенцем, когда сказка была явью, когда небо было ближе. Праотеческая память, из глубин и далее ты донесла не тьму, заблуждения и тоску, а свет Истины, сияние Солнца Правды.

Ещё до того, как на камне и глине, папирусе и берёсте, пергаменте и бумаге были высечены, вырезаны, начертаны первые знаки, в которых угадывались деревья и птицы, рыбы и звери — ещё до этого Бояны и Гомеры, сказители и рапсоды сложили и передали в поэзии живое слово.

«Боязнь забыть слово породила поэзию», — сказал Сергей Марков. В ней слово сохраняется предельно ограниченным, ибо, чтобы запомнить его, в стихах всё должно быть на своём месте, должны быть спаяны звук и смысл, слиты воедино мелодия и образ.

Поэт доверяет стиху больше, чем письму, доверяет песне, преданию, былинке больше, чем печатному станку. Поэт стремится к тем народам, что сберегли устное слово, и в нём особое знание, упущенное алфавитами, особые тайны, которые нельзя записать, а можно только произнести. Эти тайны делают народ «носителем мысли великой».

На «мировом погосте» истории оказались не те, кто лишился обжитой земли, царств и империй, не те, кто был поработён врагом, не те, на кого обрушились мор, глад или потоп, а те, что стали беспмятными:

На свете тот народ велик,  
Что слово бережёт,  
И чем древней его язык,  
Тем дольше он живёт.

Поэт идёт к памятливым народам, и путь его пролегает по двум осям — времени и пространства. Двигаясь то за горизонт, куда новым рассветом манит грядущее, то вспять, где сияют покорённые вершины, — поэт сопрягает мечту и опыт, открывает поэтическую этимологию слова — ту, которая недоступна даже самому просвещённому лингвисту. Только поэзия способна привести к «истокам славянской реки», где «сверкают алмазы санскрита».

Путь поэта проходит через коренную Русь с её костромским оканьем и «звонящим Звенигородом». Через Сибирь, северные моря и Аляску, до которых когда-то раздвинулись русские рубежи. Через Азию с её песками, зноем и жаждой, с бесконечно тянущимися, как в обморочном сне, караванами, с пьянящими пряными запахами и расцветшими тюльпанами.

На этом пути поэту дано расслышать в природе то, что утратила память человечества. Таинственные слова произносят «золотогорлые павлины». Слово уподобляется золотой пчеле, увязшей в меду: слово сладко, оно источает аромат полевых цветов, в нём янтарные перебивы солнца:

И озарен незримым светом,  
Я был пред вечностью склонён,  
Уподобляя самоцветам  
Слова исчезнувших племён.

Поэт постигает «океанский язык детей», где нет суровой грамматики, где речь, как пение, а слова не отягощены множеством значений, легки, как лебединые перья, прозрачны, словно родники. Этот язык детей жил, когда ещё не разделились материки и океаны. Он доносился из водных глубин, был слышен в шуме тёплых ветров.

На своём пути поэт встречает охранителей русского слова — тех, кто оборонял его мечом, пером, трудом и молитвой. Тех, кто поднимал русский флаг во всё новых и новых пространствах, во всё новых и новых веках. Тех, кто «подвигом гибель попрали».

Пушкин и Лермонтов, Батюшков и Рылеев, Карамзин и Державин, Суворов и Багратион, Сусанин и Минин, Беринг и Ермак, Пересвет и Александр Невский, Илья Муромец и Евпатий Коловрат — они открывают поэту, что «история не повторяется — но есть разительные сходства». На Руси во все времена «Бог боязливых не любит», творца век недолог, но яркое, а лёд русского времени разверзается под всяким, кто приходит к нам с мечом — и под крестonosцем, и под свастиконосцем.

Поэт заметит, что в могучем строю охранителей у каждого посеребрён висок. Так проступили те тревоги и озарения, что сладкопевцы, ратники и святые не успели вымолвить. Сокровенное слово замерло

на их устах в тот миг, когда перед очами уже явились небесные чертоги.

Каждый положит в котомку поэта невымолвленное русское слово, чтобы из него разрослось дивное стихотворение. Чтобы весь мир увидел, что у нашего слова есть не только земные корни, но и небесные высоты, что наше слово — это живая вода и радуга-дуга:

Как солнце, сверкая, течёт  
Над прахом тевтонского крова,  
Над ржавчиной прусских болот —  
Река величавого слова.

Пусть, жажду веков утоля,  
Струится до Эльбы и Справы  
Она — от подножья Кремля —  
Алмазными руслами славы!

Поэт испил живой воды, озарился светом — и над миром вновь прозвучали высокие слова. Мир их запомнил.

### Николай Тряпкин: «Время высоты»

Вдохновение преумножает силы поэта. Дарует ему всевидящее око, чуткий слух, драгоценными россыпями являет все слова языка, высвечивает все оттенки смыслов. Пробуждает в поэте память юности, отрочества и младенчества: скрип колыбели, крик петуха, плеск реки, стук топора — всё в стихотворной строке гармонично, всё сладкозвучно. Вдохновлённый поэт «умом громам повелевает» и наблюдает «горный ангелов полёт», ведаёт, как по Млечному Пути уйти в будущее и там обрести пространство, которому нет предела.

Вдохновение одного способно изменить мир, влить в ветхие мехи молодое вино и не разорвать их. Но когда вдохновлены многие, когда вдохновлён целый народ, тогда на смену ветхому миру приходит мир новый. По венам этого мира течёт горячая кровь, в очах его сияет небесная лазурь.

Так народ вдохновился однажды Великой Победой над вселенской тьмой. Вырвался в этом свершении из бытового времени и стал жить во времени историческом, где каждый шаг — шаг к звёздам. Николай Тряпкин назвал это «великой весной творческого народного порыва», когда майскому Дню Победы предшествовала Пасха, когда земную победу ознаменовала Победа на небесах.

Вдохновлённый народ-победитель стал мастерить стропила, устремился к Солнцу Правды, воссиявшему, «как шлем Сталинграда, над великой рекою». Стук плотницкого топора начал отсчитывать иное время — «время высоты», — в котором очищали от ожогов войны уцелевшие дома:

И поют мастера о полетах,  
О полетах сверкающих пил.  
И поют мастера о высотах,  
О высотах горячих стропил

Артель вдохновлённого народа собрал Сын плотника — Тот, Кто смертью смерть поправ. Он тесал дерево и вдыхал в него, лишённое корней, жизнь, что разливалась среди «налаженных дней» «весной света». Народ вместе с Сыном плотника претворял слово в общее дело, давал имя мечте, разгонял время, словно локомотив. И каждый берёг у сердца особую каплю вдохновения — песню. Но одной каплей душевной жажды никому не утолить.

И решил народ собрать капли драгоценные в один ручей, чтобы испил из него самый чуткий и прозорливый, чтобы родился небывалый поэт, воспел время высоты, сотворил множество живородящих источников.

И явился поэт, расслышал в переливах ручья «всемогущее слово». Песню запел, голос прашуров воскресая, горы и сады за ней повёл, в зарю её одел, стал «крепкострокий дом» возводить. Ожили в стихах поэта былины и заклички, плачи и прибаутки. Не в прошлом песня жила, а в будущее за собой влекла. Новый Боян персты на гусли наложил, и чудеса, о каких в сказках грезились, в огне и металле воплотились. Разнеслась по всему свету песенная слава о ракетах-буревестниках:

Над мирами, над веками  
Только ночь да пустырь.  
Эй, разведчики вселенной,  
Буревестники!

Жаворонки летят,  
В колокольчики звенят.  
Серебристый лучик света —  
В синем ларчике.

Но однажды поэт спел песню, от которой прежде деды содрогались. Песня та о войне была. И содрогнулись от неё внуки, прозрели, что в мире рана незажившая осталась, будто в доме после пожара пятно копоти не затерли. Разрослось оно среди вод, земли и небес, затянуло мглой красное солнце — и случилась тьма великая.

Древо отцов свалилось на плечи плотников. Они взялись за труд, усердно тесали бревно, затевали ещё один дом, а вытесали крест. Поэт думал, что идёт к облакам, а взойшёл на Голгофу, где открылась ему «тайна среди тайн: Рождение и Смерть». Евангельская вечность зеркально отразилась в русском времени: сын взирает на распятую мать — поэт взирает на Россию:

Когда Он был, распятый и оплётанный,  
Уже воздет,  
И над крестом горел исполосованный  
Закатный свет, —  
Народ притих и шёл к своим привалищам —  
За клином клин,  
А Он кричал с высокого распялища —  
Почти один.

Никто не знал, что у того Подножия,  
В грязи, в пыли,  
Склонилась Мать, родительница Божия —  
Свеча земли.  
Кому повем тот полустон таинственный,  
Кому повем?

«Прощаю всем, о Сыне мой единственный,  
Прощаю всем».

А Он кричал, взывая к небу звёздному —  
К судьбе Своей.

И только Мать глотала кровь железную  
С Его гвоздей...

Промчались дни, прошли тысячелетия,  
В грязи, в пыли...

О Русь моя! Нетленное соцветие!  
Свеча земли!

И тот же крест — поруганный, оплётанный.  
И столько лет!

А над крестом горит исполосованный  
Закатный свет.

Всё тот же крест... А ветерок порхающий —  
Сюда, ко мне:

«Прости же всем, о сыне мой страдающий:  
Они во тьме!»

Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!  
Умри, змея!..

О Русь моя! Не ты ли там — распятая?  
О Русь моя!..

Она молчит, возревши к небу звёздному  
В страде своей.

И только сын глотает кровь железную  
С её гвоздей.

То, что началось Пасхой, завершилось крестными муками. Это время уже иной высоты: высоты жертвы, долготерпения и веры. Но когда у народа отнимают вдохновение, когда его славный гимн становится плачем Богородицы, вся надежда только на поэта. Однажды вдохновлённый народом, теперь он должен вдохновить народ. Усилие поэта, его слово, его молитва — это победительный шаг от Распятия к Пасхе:

Достойная поэзия  
Не знает средних мест:  
Она — лишь ноша крестная  
Иль сам Голгофский крест

Изнурённый народ ждёт от поэта «сотворенья Глагола», от которого расточится тьма — и воссияет неугасимый свет.

**Александр Яшин: «Мы ныне совестью мира стали»**

Подобно тому, как на границе литосферных плит возникает драгоценная руда, на стыке времен рождаются самобытные поэты. Они, когда «минуты роковые» складываются в «эпоху перемен», прозревают незримое, внимают беззвучному, осязают бес-

телесное. Из исторического разлома струится первооснова бытия, его потаённый смысл, начало всех начал, причина всех причин — то, ради чего сохраняется жизнь и одолевается смерть. Если упустить этот сокровенный смысл, не облечь его в слово новой эпохи, то неминуемо наступит мрак и пустота.

Когда меня еще не было —  
поэзия существовала.  
Поэзия останется,  
когда меня уже не будет.  
Она повсюду:  
в природе, в людях,  
во мне  
и вне меня,  
как световые лучи  
и как радиоволны —  
в атмосфере  
и в космосе.

Стихи существуют и не написанные,  
не зарифмованные,  
не напечатанные,  
еще не почувствованные никем,  
как антимир,  
и пока не уловленные,  
как биотоки Вселенной.

Эти белые стихи написаны Александром Яшиным уже в зрелости: нашло точное выражение то, что молодому поэту открывалось гадательно. Слова — та самая драгоценная руда. Поэт добывает из неё металл смысла, скрепляет его рифмой, соединяет естество языка с естеством творчества. Но не каждому суждено открыть и явить предвечность поэзии.

Быть может, антимир стихов, их инобытие поэту приснилось. Он не знает, когда уснул и когда проснётся: грёза — яснее яви, явь — туманнее сна. Из этого сна возникает белеющий парус, шестикрылый Серафим, видение о последнем катаклизме. В этом сне — одновременность минувшего и грядущего, встреча предков и потомков. Что было — помнится, что будет — ведомо.

Вологодских прашуров поэта слово любило. Оно вложило им в уста сладкозвучное *о*, которое они в церковном песнопении, в былинах, закличках и плачах пронесли через столетия:

Вологда теперь разбогатела,  
Воложане, брат, взялись за дело,  
Только окать не перестают.

Вода, молоко, колосья — во всём это оканье, будто время закольцевалось в волшебной букве, в непрерывном звуке, и жизнь стала бесконечной. В этой бесконечности нет ничего чужеродного. В этой бесконечности, как в сказке, случаются любые чудеса:

Раскинем полог у начала сказок,  
Чтоб их целебным воздухом дышать.  
Охотничьи побаски и рассказы —  
Они из мертвых могут воскрешать.

Смерть так далека и так невозможна, когда мир подобен пейзажу, которому стало тесно на холсте неведомого художника: «И рамка сосновая будет узка, И стены дыхание неба раздвинет». Лес, пашня, росистый луг наполняют первые лучезарные книги поэта.

Именно эти образы пойдут во спасение, когда в мироздании разверзнется пропасть и душа приготовится к неотвратимой беде, к небывалому испытанию. К войне, что начнёт сеять вражду не только между страной и страной, человеком и человеком, но и между землёй и небом, цветком и солнцем. В этой войне враг «с рогами на темной каске» будет ломать хребет истории, останавливать ход живоносного светила, утягивая его на запад, как в черную бездну.

Страна, на гербе которой не меч, не автомат, а колос, возьмёт на себя ответственность за бытие, вступится не только за свою землю, но и за всё мироздание, за истину и справедливость:

Сегодня мы от костров храним  
Культуру, которую миру дали  
Москва и Афины,  
Париж и Рим, —  
Которую мы от рождения чтим, —  
Мы ныне совестью мира стали.

И штык окажется сильнее танка. И тыл будет вторым фронтом. И богатырь былинный встанет в строй с нашими бойцами. Изумлённый союзник, притаившись за океаном, назовет наш «труд опасный и тяжёлый» «самосожжением».

И для победы в такой схватке недостаточно пехоты, самолётов и крейсеров. Чёрные дыры, оставленные войной, поэт закупорит воспоминаниями детства, одолеет тьму светом, будет грезить о том, что выжженное поле боя вновь станет золотым полем пшеницы, что реку вновь назовут «рекой», а не «водным рубежом».

А после — иная большая работа. Народ-победитель, народ-гигант, народ-романтик воспалёнными губами припадёт к роднику жизни, израненными стопами пройдёт по исцеляющей росе, увидит в осени не унылую пору, а время великой радости, когда на разоренной врагом земле созреет первый послевоенный урожай. И хлеба долгожданные, хлеба земные и небесные утолят глад сердца — тоску по счастью, покою и любви.

«Война все чувства наши обострила», все силы наши удесятирила. Сквозь небесную синеву народ-победитель дотянулся до звёзд, посреди знойной степи из речных вод сотворил море:

Уже волну нельзя сравнить с донской,  
Она гудит, под ветром нарастая,

И хоть вода по-прежнему — донская,  
Но вид и норы у неё морской.

Каждый в общем деле нашёл «своё место на планете», и теперь бережёт её от новых потрясений, прокладывает на ней дороги жизни. Ради этой жизни поэт ищет в мире «вечную женственность», воплощает её в многоликих образах. Здесь и Алёна Фомина, что в колхозном тылу, подобна фронтовому командиру. И самопожертвенная Ольга, что в блокадном Ленинграде отдаёт осиротевшим детям единственную пайку хлеба. И Поля Батракова, от первой любви которой солнце стало ярче, лица — светлее, слова — теплее.

И тогда мир задышал полной грудью. В него вернулась чистота первых дней творения, когда ещё не случилось ни одной смерти, всюду была только жизнь. Мир на стыке времён сбросил ветхие одежды — обнажилась душа мира. У неё были зрение, слух и память.

Душа проникала «в глубь веков», заглядывала «в самое себя». Душа слышала «музыку вечности, голоса цветов и трав, их рост и дыхание».

Душа была Словом.

#### **Владимир Соколов: «У меня осталось только божье время»**

Поэт прозревает то, что от других сокрыто, что иным неведомо. Слово являет ему сверхреальность и сверхъестество, живущие по особым законам, перед которыми отступают земное знание, праздный ум.

Поэт открывает закон сохранения времени. Материя истлевает, энергия рассеивается, и только время никуда не исчезает, ни в чём не растворяется. Время — не цепь, а песочные часы. Минувшее и грядущее — не хрупкие звенья, а сообщающиеся сосуды.

«Всё уходящее уходит в будущее», — сказал Владимир Соколов и этой поэтической строкой запустил вечный двигатель времени. День вчерашний не остаётся за спиной человека, а негасимым солнцем, сделав круг, приводит за собой день завтрашний. Жизнь не идёт к финалу: слова «конец» и «начало» произрастают из общего корня. Это опорные точки, отыскав которые, поэт может перевернуть песочные часы — и прошлое станет будущим, жизнь перевоплотится в слово.

Потому поэзия — весть о том, что «будет жизнь ещё одна», когда тебя не за прогулы и ошибки, а за испытания, пройденные с честью, за открытия и откровения «оставят на второе детство», на «вторую молодость». А в первом детстве перед твоим 1928 годом захлопнулась дверь военного поколения. Ты родился чуть позже своих товарищей, и в райвоенкомате был «по возрастной причине не принят в истребительный отряд».

Война не пощадила никого, ей было всё равно, «одиннадцать тебе или двадцать два». Но ты оказался

в другом вагоне, в другом составе, на другом пути, твои друзья уехали на передовую, а ты в эвакуацию:

Мы только что мячи гоняли с ними,  
А тут за несколько военных дней  
Они внезапно сделались большими,  
Которым всё известней и видней.

Но во второй молодости пути вновь сойдутся. Во второй молодости будет общий состав, где раненные и искалеченные, убитые пулей, разрывом или вражеской рукой, встретятся с теми, кто претерпевал голод и холод, изнемогал от великой работы, отдавая всё для Победы. И в этом общем составе все будут живы, невредимы и молоды. Все вернуться домой.

Но поэзия не повторяет пройденный путь, не даёт возможности изменить череду событий. Поэзия открывает дверь в параллельную жизнь, в одновременное бытие. Поэзия как второй сценарий жизни сотворяет сюжет. В нём поэт видит себя самого за письменным столом, когда рождается поэма. Из поэмы, зрима и осязаема, является неслучившаяся любовь. Новая строка приводит в довоенный переулочек Москвы. Новое слово поэмы воскрешает растаявший снег, аромат увядшей сирени, превращает мокрую от дождя улицу в бескрайнее море.

В поэме снится сон о белом листе бумаги, о тетрадке с ещё не написанными стихами. Движимый сюжетом, поэт копает в поэме небесные колодцы, ищет заветный смысл и находит его в пробившейся воде. Вода холодна, чиста, сладка. Поэт зачерпывает её ладонью, пьёт серебряные звезды.

Время сюжета и время жизни пронзают поэта, оставляя ему встречи и расставания, разочарования и мечты, друзей и предателей. Время жизни старит поэта, отнимает у него силы, образы, вдохновение. Время сюжета — спасает: возвращает всё отнятое жизнью, поднимает над тленом и суетой. Так «сходит на нет временность, и наступают Времена».

И тогда поэт способен посмотреть на мир глазами пришельца, поразиться нелогичности, жестокости, истощённости мира, что «между последним часом Бога и первым спутником Земли» накопил множество неразрешимых противоречий.

От двадцатого века устал не только человек, но и всё мироздание: земная былинка и небесная звезда, город, разрушенный землетрясением, и соловей, посаженный в клетку. «Окровавленные реки» двадцатого века замутили детский взор, отравили живородные родники, сделали алым Млечный Путь.

И нужно нарушить подобный ход неубывающего времени, чтобы оно от вчера к завтра не преумножало боль и страдание. Нужно погрузить двадцать первый век в «Божье время», которое на брэнной земле называют «вечностью». И тогда откроется источник справедливости, милосердия и благоденствия.

Поэт прозрел такой источник в «вечном стиховорении», которое «не допишет никто никогда». Каждый, преодолевая муки и лишения, несёт к это-

му стихотворению своё сокровенное слово, добытое среди пустых слов. Слово за словом складываются строки. Строка за строкой — строфы:

...Я, как дитя, представил бесконечность —  
И страх объял меня. Я в Путь готов.  
Я здесь оставил душу. Дай мне, вечность,  
Хотя б минуту для немногих слов.

Увы, прощайте, гордые, как дети,  
Что занеслись, экзамен первый сдав.

Хулу или хвалу чужой планете  
Нам воздавать нельзя. Таков устав.

Но я закон своей звезды нарушу.  
Вы — гениальны. Это не секрет.  
Вы умудрились сделать смертной душу!  
Нигде другой такой планеты нет...

Вечное стихотворение продолжается. Приближает нас к Божьему времени.

#### Татьяна Глушкова: «Накануне Рождества смерть становится мертва»

Поэт входит в мир, словно младенец, впервые сам переступивший порог храма. Ничего ему здесь ещё не знакомо, но отчего-то всё родное, будто кто-то очень ждал этих робких шагов и теперь, подобно старцу Симеону, облегчённо вздохнул — то ли читатель, жаждущий нового слова, то ли старший брат по перу, «измывавшийся немотой» в тоске по литературной смене.

Так вошла в поэтический мир Татьяна Глушкова. Среди ясного дня по белой улице: жизнь распахнулась перед душой, и душа распахнулась перед жизнью. Подмигнуло «медовое око солнца» и одарило сладким светом. В озорном младенчестве коснулась босых стоп зелёная трава. Явилось, как таинство, «святое чудо щедрости хлебов».

В таком добром мире ни к чему не страшно повернуться спиной, ведь «за холмом, за лесом, за плечом — великая Россия» — твоя радетельница со всем сонмом святых «Повести временных лет». За плечом — София Киевская, что несёт весть о Законе и Благодати. За плечом — «золотой голосок», наполняющий твой язык «соловиной тайной», тем сладкозвучием, которое неведомо человеческой речи, которое преображает и формы, и смыслы.

Соловей-словей навевает слова, способные вместить небо — и впервые придут стихи. Они — нежданные и незванные — нахлынут, как слёзы, не от печали, а от восторга, оттого, что невыразимое вдруг нашло выражение.

И кажется, ликование будет бесконечным, мир будет рождать всё новую и новую невыразимость, а вместе с ней — новые стихи. Но в поэзию приходит «смутновремяне». Одолевает тяжкой болезнью, как жар, как бред, и в этом мутном бреде перед глазами

встаёт враг. Им поругано «младенчество травы», выжжены щедрые хлеба, затоптан цветущий подорожник, что «седым копьём почти касался неба». Отныне медовое солнце изливает полынную горечь, а соловынную трель родного языка заглушает пёсий лай и волчий вой немецкой речи.

Война погонит с отеческой земли, как с чистой страницы, где должны были появиться стихи, зальёт белизну листа кроваво-красным, застит туманно-серым и дымно-чёрным. На обугленной странице родной земли останется лишь узкая полоска светлых полей, на которой надо будет написать всё самое сокровенное:

А я закрою тихие глаза  
и вдруг дойду до затаённой сути,  
во мне зашевелиятся голоса,  
во мне забродят сумрачные судьбы.

По этой узкой полоске черновика предстоит отступать на Восток. И важно будет унести в ветхой котомке драгоценные «лепестки лоскутной речи», подобрать их как можно больше в поговорках «деревенских, голосистых баб», оставить незаконченные стихи засечками на деревьях, чтобы потом по этим зарубкам вернуться домой, где трудно будет что-то различить среди разрухи и пепелища. Надо будет спасти из горящего русского леса соловья, опалённого и напуганного, спрятать его за пазухой до той поры, пока оглушённый мир вновь не обретёт слух. Надо будет как можно туже вплести в русский язык «поющую и плачущую мову», укрепить Русь славянством, так ненавистным врагу.

Война вступит в поединок с «бессмертной жизнью», со всеми нашими веками, с нашей ратной памятью. Всюду врагу будут видеться «нечуждые гробы», битые нами ливонцы и шведы. Свои полки поднимут за нас князь Игорь, благоверный Дмитрий Донской, Багратион, кинут ратный клич Кий, Щек и Хорив, взмолятся о нашей победе равноапостольная Ольга. Родная земля восстанет, сбросит чужую поступь. И возродится мать городов русских, «славянская столица», просияет византийским ликом, вздохнёт свободно, омоет раны днепровскими водами.

И расцветёт долгожданная весна, «весна света», весна чистоты, весна Победы. И всё с той поры станет на родной земле благодатным: и выюжные зимы, и знойные лета, и стылые осени. Во все стороны белой скатертью расстелятся дороги. Мир наполнится поэзией, словно соком созревший плод, словно шмель, напивавшийся от золотого цветка. Встрепенётся соловей, запоёт песни складные да ладные, о беде одолённой, о слезах горячих, что в землю канули.

Но русские слёзы нетленны, прорастут они в земле новыми бедами. Станет она изо всех сил душить их во чреве своём, не пускать к свету. Но бедовые сорняки могут, сквозь гранитные пьедесталы былых побед прорастают.

**Генеральный****директор**

Евгений Шишкин

**Художественный****редактор**

Татьяна Погудина

**Цветоделение****и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

**Заведующая****распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 125284, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Подписано в печать:

20.02.2020

Тираж 2 500 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 0658-2020

**Адрес редакции:**

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

**Телефоны**

редакции:

8(499) 261-84-61

8(499) 261-49-29

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

**E-mail:**

roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Сайт:**

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

И если враг-иноземец лицом к лицу с тобой дрался, орлом очи твои выклевывать хотел, то новый враг подкрался со спины. Он говорит с тобой на одном языке, но в речах его не «соловьиная тайна», а змеиный шёпот, обещает он благо, а порождает зло, обещает белый день, а сотворяет «час Беловежья», сулит цветущий май, а несёт «чёрный октябрь». И вот уже «балтийская вода не омывает берегов России». И вот уже братские чубы в кровавые жгуты повиты. Каждый день как снятие печатей Апокалипсиса:

Когда не стало Родины моей,  
в ворота ада я тогда стучала:  
возьми меня!.. А только бы восстала  
страна моя из немощи своей.

Когда не стало Родины моей,  
воспряла Смерть во всем подлунном мире,  
рукой костлявой на железной лире  
брящая песнь раздора и цепей.

Враг близко: кажется, дотянешься рукой. Уповаешь на то, что «*“совки” дойдут до нужного Берлина*». Мечтаешь дожить до дня новой Победы, лишь, как можешь, свой короткий век, «*и тот как будто в долг отпущенный*». Когда-то вошедшая в поэтический храм младенцем, теперь сама уподобилась старцу Симеону. Нужно жить, пока не узришь того, в чьи уста будет вложено всеодоляющее соловьиное слово.

И вот накануне Рождества Смерть становится мертва. В звёздном сиянии видны трое, что по заснеженным русским дорогам несут золото, ладан и смирну. Младенец уже родился.

**СОДЕРЖАНИЕ****ПРОЗА****Владислав ПАСЕЧНИК**

Триптих о войне ..... 3

**Ирина МИХАЙЛОВА**

Я не боюсь ..... 9

**Максим ЖУКОВ**

Багряные облака..... 30

**Андрей САВЕЛЬЕВ**

«Из кадетов в «диверсанты» ..... 40

**ПОЭЗИЯ****Тихон СЕНИЦЫН** ..... 49**Зарина БИКМУЛЛИНА**..... 52**Мария ЗНОБИЩЕВА**..... 54**Виктория ПАНИНА**..... 55**Кирилл КОЗЛОВ** ..... 57**ПУБЛИЦИСТИКА****Александр АРТАМОНОВ**

Хроники советской аристократии..... 59

**Диана НАСРЕТДИНОВА, Алина НОСКОВА**

Из бесед с ветеранами Великой Отечественной войны ..... 65

**Виктория ТОЛКАЧЕВА**

Война под Ясиноватой ..... 68

**Михаил КИЛЬДЯШОВ**

Мы могли бы говорить стихами ..... 73





**ПАНИНА**  
**Виктория Сергеевна**

Родилась в Ташкенте. Стихи публиковались в российской прессе, звучали по радио и записаны на диск «Рассветные голоса над Волгой». На ее стихи написано несколько песен. Лауреат конкурса «Отсюда Тверь берёт начало...» (2006) и молодежной литературной премии «Родник» (2007).



**КОЗЛОВ**  
**Кирилл Сергеевич**

Родился в 1984 году в Ленинграде. В 2009 году стал лауреатом литературной премии «Молодой Петербург», в 2011 году лауреатом премии «На встречу дня!» имени Бориса Корнилова. С 2014 года куратор проекта «Диалоги литературных поколений».



**АРТАМОНОВ**  
**Александр Германович**

Родился в 1968 году в Москве. В 1988 получил диплом филолога, преподавателя-переводчика французского и итальянского языков. С апреля 2019 — военный обозреватель еженедельника «Звезда». Член Союза журналистов Москвы.



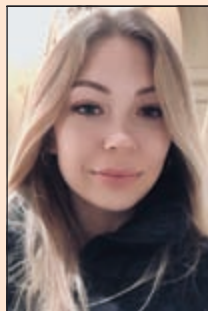
**НАСРЕТДИНОВА**  
**Диана Рамильевна**

Родилась в Республике Башкортостан. В 2016 году поступила в МГГЭУ на специальность «Журналистика». Работы публикуются во многих газетах и журналах.



**ТОЛКАЧЁВА**  
**Виктория Анатольевна**

Родилась в Луганске, на Украине. С осени 2014 года, в связи с боевыми действиями в Луганске и ЛНР, начала работу корреспондентом. Была одним из основателей и сотрудником информагентства «Исток»



**НОСКОВА Алина Алексеевна**

Родилась в городе Байконур Кзыл-Ординской области. В 2015 году поступила в Московский государственный гуманитарно-экономический университет на факультет социологии и журналистики. В 2019 году поступила в магистратуру, сменив направление с «Журналистики» на «Социологию».



**КИЛЬДЯШОВ Михаил Александрович**

Родился в 1986 году в Костроме. Окончил филологический и культурологический факультеты Оренбургского государственного педагогического университета, аспирантуру Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Изборский клуб», «Москва», «Литературная учеба», «Покров», «Русское эхо», «Брега Тавриды», «Бийский вестник», «Нижний Новгород», в альманахе «День поэзии» и других изданиях.



